

6
1973

У Р А Л Ь С К И Й
С Л Е Д О П Ы Т





В НОМЕРЕ:

В. Веселов. АРКТИЧЕСКИЕ КАНИКУЛЫ. Очерк	2
Ю. Яровой. АЛМАЗ. ТАЙНЫ ПРОШЛОГО, ЗАГАДКИ БУДУЩЕГО	17
В. Зорин. ДОЖДИ. Рассказ	21
СЛЕДОПЫТСКАЯ ХРОНИКА	25
С. Гагарин. БРЕМЯ ОБВИНЕНИЯ. Приключенческая повесть. [Окончание]	26
А. Харенко. ЧЕРЕЗ ПЕРЕВАЛ	33
В. Бобылев. СОЛДАТСКАЯ СЕМЬЯ	35
Э. Якубовский. ЕКАТЕРИНБУРГСКИЕ ПОДЗЕМЕЛЬЯ	38
М. Найдич, Г. Цветков. СТИХИ	45
Б. Ручьев. СТИХИ	46
Е. Егорова, Г. Поликарпова. НА ПОРТРЕТЕ СОФЬЯ ПЕРОВСКАЯ	48
Б. Полевой. ОТКРЫТИЕ АЛЯСКИ	49
С. Писаренко. УВЛЕЧЕНИЕ — ПРОФЕССИЯ	50
Л. Селиванов. КОМАНДИР МОЕГО БАТАЛЬОНА	51
А. Поляков. ПИОНЕРСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ	61
П. Амнуэль. ИДУ ПО ТРАССЕ. Фантастический рассказ.	62
МОЙ ДРУГ ФАНТАСТИКА	73
А. Матвеев. СЕМЕРКА НА КАРТЕ	76
П. Коверда. РЕДКИЙ СЛУЧАЙ	77
П. Нефедьев. АВИАЗАЙЦЫ	77
И. Сапожков. В ТОБОЛЬСКОМ ЗВЕРОСОВХОЗЕ	78

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РСФСР,
СВЕРДЛОВСКОЙ ПИСАТЕЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
И СВЕРДЛОВСКОГО ОБКОМА ВЛКСМ

ГОД ИЗДАНИЯ ШЕСТНАДЦАТЫЙ

Свердловск
Средне-Уральское книжное издательство

6
1973

У Р А Л Ь С К И Й
С Л Е Д Д О П Ы Т Ы



Вячеслав ВЕСЕЛОВ

Рисунки С. Киприна

Очерк

Ветер с далеких берегов

Я и теперь, пожалуй, не сумею внятно объяснить, почему спросил тогда в институтской библиотеке дневники Нансена, а потом всю ночь напролет читал про дрейф «Фрама». И это накануне экзаменов! В выборе книги, собственно говоря, ничего удивительного не было: я с детства бредил Арктикой. Но внезапность поступка меня поразила. И в пору студенчества я был ближе к своему детству, чем мне казалось.

Они жили втихомолку, старые, уже потускневшие мои мечты и только иногда заявляли о себе — вставали, звали за собой, тревожили... Но наступало лето, я уезжал на практику или с друзьями на юг, а мечты оставались мечтами.

После той ночи я понял, что откладывать больше нельзя, и сел в мурманский поезд. Похоже на романтическое бегство? Да нет, никакого бегства. Просто наступили каникулы, последние мои студенческие каникулы, и я решил их провести в... Арктике.

Живешь, взрослеешь, а потом однажды замечаешь, что старая мечта грузом лежит на сердце. Словом, я решился.

А прочитанная ночью книга мне знакома. Помню заснеженный город (работа отца была связана с частыми переездами, и я катался с родителями по стране, не успевая привыкнуть ни к городам, ни к школьным

приятелям). Помню неуютный дом, пустые комнаты, темный шкаф, доставшийся нам от прежних хозяев, а в нем несколько книг, старые журналы и — Нансен издания 1903 года. «Среди льдов и во мраке полярной ночи» — так называлась эта книга. Кажется, тогда я и влюбился в Арктику. Мне было двенадцать лет. Надо ли говорить, что тогда я твердо решил стать полярным путешественником. Но потом все изменилось.

Мурманск

Живу я в общежитии моряков Арктического пароходства. Поздний вечер, но за окнами светло. Начало июля. Людей в городе немного: время летних отпусков. Убежали к теплым морям последние поезда с мурманскими ребятишками (их здесь зовут «шпротами»), первый караван судов ушел на восток. Так что я не у дел. Пароходству требуются матросы, судовые токари, плотники, а я, как максимум, могу быть грузчиком. Это мой единственный шанс. Разгрузка судов на полярных станциях ведется силами экипажей, лишние руки там обязательно понадобятся. Вот на это и уповаю.

Я определен на судно уборщиком. Посвящению



в должность предшествовала изнурительная комиссия с глотанием резиновой кишки и прочим — исключительная привилегия работников пищеблока и уборщиков. Я подумал, что моя любовь к Северу подвергается чересчур суровым испытаниям. После комиссии мне вручили «Медицинскую книжку моряка торгового флота» с врачебным заключением: «годен к работе в должности уборщика без ограничений».

Без ограничений... Слабое все-таки утешение. Я знал, конечно, что без технического образования, без умения точить, строгать, варить на судне делать нечего. Я и не надеялся получить ответственную должность, но чистить нужники...

Дважды в день я иду на свидание с инспектором отдела кадров, справляюсь о работе, а после толкаюсь в коридорах, изучаю объявления и приказы.

На фанерном щите — два больших листа — позиция судов Мурманского арктического пароходства.

«ДОРОГОБУЖ». Вышел из Клайпеды в Антверпен. Очередной рейс Вентспилс — Роттердам.

«СУХУМИ». Принял лоцмана. Заходит в Манчестер для выгрузки.

«ДУДИНКА». Погрузка в Архангельске на Бейрут.

«МСТА». Заходит в Тронхейм. Очередной рейс Берген — Мурманск.

«ДАГЕСТАН». Вышел из Щецина в Ленинград под погрузку на Руан.

И длинный перечень судов, против которых стояло одно слово — АРКТИКА.

Завтракаю в маленьком кафе на первом этаже пароходства и слушаю разговоры о прибытиях и уходах, о том, что Ла-Манш забит льдами... Сижу, слушаю и все меньше верю, что когда-нибудь и сам выйду в море. Уже вторую неделю инспектор встречает меня одной и той же фразой: «Ничего пока нет». Это мрачноватый человек, задерганный как все инспекторы, диспетчеры и театральные администраторы.

Взойти на корабль...

Заглянув сегодня в отдел кадров, я не чаял услышать что-нибудь еще, кроме привычного «ничего пока нет». Инспектор ругался с кем-то по телефону. Потом он бросил трубку на рычаг, тоскливо посмотрел на меня, будто припоминая что-то, и бросил:

— «Мста». Шестой причал. Счастливо плавать!

С чемоданом в руках поднимаюсь по трапу. Свободные от вахты матросы покуряют, сидя на брезенте.

— Здравствуйте, — говорю.

— Здорово, — отвечают нестройным хором. Парень с ветошью в руках спрашивает: — В машину?

Это единственное, что я знаю наверняка — не в машину.

— На палубу?

— Да вроде бы...

— Где плавал?

— Не приходилось.

— А-а...

До отхода меня не трогают, и я слоняюсь по судну. Вокруг запахи машинного масла, краски, нагретого металла. Откуда-то тянет рыбой. Кричат чайки, то угрожающе, то жалобно, с мольбой, а то вдруг — зло, почти визжат.

Рядом с нами стоит увешанный кранцами океанский буксир «Хоби». Странное имя... Среди спящих по заливу грязных портовых суденышек с немудреными названиями вроде «Моряка» или даже «Сверловщика» этот «Хоби» выглядит немислимимым щеголем, иностранцем.

В столовой команды я добросовестно прочел стенгазету «Маяк» под бодрой шапкой «Даешь Арктику!». Медицинская страничка открывалась беседой судового врача А. Начинкина о болезни грязных рук — дизентерии. Статья называлась «Помни об этом!». Я пошарил в памяти: сэр Френсис Дрейк умер от дизентерии. Не мыл рук?

Два застекленных шкафа — судовая библиотека. Тут было где развлекаться: Лев Толстой, Флобер, «Рассказы о милиции», Шолохов, книга мастера спорта Шмульяна «Середина игры в шашки», зачитанные до дыр Ильф и Петров, Сервантес, восемь томов арабских сказок, брошюра «Сохрани зубы», комплект журналов «Охрана труда и социальное страхование»...

Мы до полуночи ползали по заливу, брали масло и соляр, еще что-то.

Так и не дождавшись выхода в открытое море, я ушел спать. А когда утром поднялся на палубу, вокруг уже расстилалась неспокойная, мутно-зеленая равнина, исколотая гребешками пены, и берегов не было видно.

Там, в душных кубриках, ребята поднимались, и здесь, наверху, было пусто. Пусто и холодно. Лишь на шлюпочной палубе стоял высокий худой парень с бледным прыщеватым лицом. Белая поварская куртка, джинсы... Миша Котеночков, наш кок-

пекарь, наш камбузник. Кухонный мальчик. Коллега в некотором роде. В судовой таблице мы занимали с ним две последние строчки — камбузник и уборщик.

Миша заметил меня и улыбнулся. В этой улыбке был намек на некую общность, на посвященность в дела другого. Что он имел в виду? Комиссию? Ну да. Унизительные для нашего мужского самолюбия часы, когда мы ждали приема в толпе буфетчиц, официанток, уборщиц.

Архангельск В три часа около плавающего маяка «Архангельск» мы взяли на борт лоцмана. Он легко влез по штормтрапу, невысокий плотный старикан в синем плаще и капитанской фуражке.

— С прибытием!

Лоцман держался с восхитительным достоинством, сдержанность и спокойная сила этого седого человека сразу бросались в глаза. Лоцман говорил не спеша, мягким, ровным голосом, широкое лицо его оставалось неподвижным, только под выгоревшими рыжеватыми бровями весело блестели ярко-синие, совсем не старческие глаза.

Первым судном, попавшим нам навстречу, был маленький аккуратный «швед» с грузом досок. Стояла теплая ночь, в легком сумраке реял слабый ветерок, а вниз по Двине бежал чистенький шведский пароходик с огнями немочно-бледными и почти ненужными в свете разгорающегося утра. Он бежал бесшумно и казался бесплот-

ным — скользил, удалялся, таял, словно летучий сон...

Покачивались на воде фарватерные буи, где-то скулила землечерпалка, тянулись причалы, суда под погрузкой, штабеля досок. Было тепло, пахло свежераспиленным лесом, с берега летели голоса людей.

Архангельск — первый город, открывшийся мне с палубы корабля.

Порт

Пятна нефти на воде, сваи причалов в ядовито-зеленой пене, шлепки волн, черные буксиры, лихтеры и запах леса над ними, частая паутина проводов, антенн, мачт, грузовых стрел, грохот лебедок, свист пара, черные провалы трюмов, вытянутые шеи долговязых портовых кранов, а за ними — гора угля, склады, штабеля бочек, ящиков, тюков, гудки маневровых паровозов на подъездных путях... Это — Бакарица, погрузочный район порта Архангельск.

— Майна, майна помалу! Стоп!

— Пять! — орет трюмный.

Мы грузим уголь, листовое железо, кирпич, кабель, гвозди, строительный войлок, приборы, баллоны с водородом, огромные оплетенные бутылки — кислоту для зарядки аккумуляторов, дизельное топливо, муку, вино, соки, лук стандартный сушеный, печенье «Мария» и множество больших и малых ящиков с надписью «Морем для Арктики».

— Сколько? — кричу я в трюм.

— Восемь, — отвечает трюмный.



Я снова пересчитываю бочки и ящики, заново вес и количество мест в тальманский лист, расписываюсь в погрузочных ордерах. Мне весело, но я стараюсь не выказывать своих чувств. Что-то мешает мне отдаться радости. Мы почти всегда идем на риск, пытаюсь увидеть собственными глазами то, о чем мечтали.

Я расписываюсь в ордере. Я деловит, строг, полон ответственности. Я хочу быть невозмутимым. Но день и час, когда оснащается корабль, предотходные хлопоты, суэта порта, его запахи и голоса будят полузабытые воспоминания, возвращая меня в далекие гавани, где погрузились солонной и сухарями парусники моих детских книг.

Все громче голоса, все резче команды, все торопливее шаги. Кричат чайки, сигналият машины, оглушительно хлопает на ветру флаг. Все это рождает ощущение беспокойства.

«Сядь на пароход для скота...»

Я собирался в город, но тут разразился дождь, долгий и шумный ливень... А на берег тянуло страшно. Ведь «берега» больше не будет.

Я миновал железнодорожные пути и длинным коридором в лабиринте контейнеров вышел в поселок.

Листва блестела после дождя, горько пахло тополем. Поселок был целиком из дерева: дома, колодцы во дворах, заборы, мостовые, по сторонам которых росла высокая трава. Дощатые тротуары, омытые дождем, лоснились. Было тепло, над поселком висел банный чад — запахи прели, гниющего дерева.

«Мста» напоминала Ноев ковчег, когда я вернулся. За перегородкой терлись боками и жалобно мычали коровы, визжали поросята, кудахтали в клетках куры. Среди этой живности разгуливал подвыпивший Ной — высокий жилистый старик в пыжиковой шапке. Его полосатый пиджак был растегнут, костистую грудь обтягивал застиранный тельник. Старик щеголял в милицейских галифе и лыжных ботинках, у пояса болтался нож в чехле.

На корме были свалены тюки с сеном, какие-то мешки. «Скот и фураж на время следования», — вспомнил я.

«Сядь на пароход для скота и погляди на мир, поищи приключений, чтобы было о чем рассказывать по вечерам».



«Промеж сивера на полуношник»

Вечер. Море отли-
вает холодным и гроз-
ным блеском вороне-
ной стали, и только на
горизонте, где солн-
це, пробившись сквозь
облака, падает на воду, горит узкая, как
лезвие ножа, слепящая полоса.

Курс NNo — промеж сивера на полу-
ношник.

Мы идем древним морским путем. Вот
по этим волнам, под этим небом бежали па-
русом лодьи и кочи поморов. Под парусами,
среди льдов, на утлых суденышках, с руко-
писными лоциями, сквозь холод, цингу и
одинокство. Трудно все же объяснить этот
яростный порыв только ближайшими выго-
дами. Здесь замешан инстинкт, извечная
жажда пространства. «Охота к обысканию
неизвестных земель» — так называли помо-
ры этот прекрасный необъяснимый челове-
ческий недуг.

Утром меня будит вахтенный матрос. До
завтрака я успеваю вымыть палубу в сред-
ней надстройке, где расположены каюты
командного состава.

Хлопают двери, появляются люди... Мне
не надо поднимать голову, чтобы узнать, кто
идет. Вот огромные разношенные домашние
туфли. Это капитан. Он шагает широко, не
обращая внимания на лужи. Меня, скорее
всего, тоже не замечает. Доктор Начинкин
двигается быстро и легко, он скользит по
сырому линолеуму, не оставляя следов.
В его неслышном беге я угадываю смуще-
ние: с одной стороны, вроде бы не хочется
мешать уборщику, с другой — в галльон
надо... Нерешительный человек.

Первый помощник старательно выбирает
сухие места: мол, уважаю чужой труд, мол,
всякое дело почетно. Он здороваётся со
мною, заговаривает. Так мы и болтаем, он с
полотенцем на шее, я — со шваброй в руке.

После завтрака экипаж расходится по
работам, а я навожу ведро мыльной воды,
сыплю туда соды и принимаюсь за свое
главное дело. Я мою проходы, внутренние
трапы, умывальники, душевые, галльоны.
Веселые голубые переборки из пластика
отмываются легко, а вот с металлическими,
давно непокрашенными — маята.

Мыть шлюпочную палубу — это целый
ритуал. Сначала поливаешь ее водой из
шланга и посыпаешь каустиком, затем бе-
решь квач-метелку с концами из раститель-
ного троса и трешь палубу. Когда раствор
каустика немного впитается, начинаешь те-
реть доски березовой метлой или проволоч-

ной щеткой. Так проходишь всю палубу
дважды, дерешь ее до желтизны и, наконец,
пускаешь воду. Следишь, чтобы не осталось
ни крошки соды. С помощью боцмана, точ-
нее, благодаря его советам, я быстро осво-
ил последние достижения в этой области.

Ну, а окатывать главную палубу заборт-
ной водой — это и не работа даже.

Небольшая килевая
качка. Судно с ритмич-
ностью метронома ходит
с кормы на нос. Я дал себе роздых и теперь
покуриваю на правом крыле мостика. Че-
рез раскрытую дверь слышно, как в ходо-
вой рубке коротко и мелодично позвяки-
вает машинный телеграф.

— Канин Нос, — говорит вахтенный штур-
ман. Он стоит в проеме двери и рукой с би-
ноклем показывает на землю.

Учитель задал нам вопрос:

«Где расположен Канин Нос?»

А я не знал, который Канин,

И указал на свой и Танин.

В учебнике географии я впервые наткнул-
ся на Канин Нос и, помню, несказанно был
обрадован. Продолжая изучать карту, я об-
наружил целое семейство «носов» — Свя-
той, Лудоватый, Большой Болванский Нос...
Ведь и тогда я уже догадывался, что Нос —
это вовсе не человеческий нос. Когда мне
объяснили, что Нос — это далеко высту-
пающий в море мыс или небольшой узкий
полуостров, я почувствовал себя обкраден-
ным.

— Канин Нос, — повторил штурман и
протянул мне бинокль.

С правого борта тянулась гряда пока-
тых рыжих холмов, скупо освещенных
солнцем. Там, где на них ложились тени об-
лаков, холмы приобретали глухую, темно-
фиолетовую окраску.

Я просыпаюсь от холода и
долго не могу найти одеяло.
Шторм Шарю в темноте: вот оно, в
ногах. Укутываюсь, согреваюсь.

В кубрике светлеет и темнеет неожидан-
но. В иллюминаторах — то зеленая вода, то
серое, предрассветное небо. Какие-то не-
приятные шорохи, скрип, постанывание...
Качка!

В столовой звенит посуда. Мы лениво
завтракаем. Старик, который везет скот
(у него редкое имя — Вонифатий), совсем
плох. Он ушел в море от старухи, а теперь

жалеет: лучше бы сидеть дома. Еще он жалеет, что кончилась водка. Самое время подлечиться. Старик всегда пил один, никого не угощал и все время приговаривал: «У вас глотки молодые, вам много надо. Вы можете и чаю, а я не могу. Я привык рынку чистой».

— Не понимаю, дед, — говорит Серега Кадушкин, — как ты в одиночку пьешь.

Старик не отвечает, охает, скребет грудь, тоскливо глядит на холодный чай.

Входит боцман в блестящем от воды плаще.

— Дед! Телки орут.

— Так то с шторму.

— С какого шторму? — смеется боцман. — Скотина со вчерашнего дня не кормлена. Собирайся, тюки с сеном будем крепить.

— Ты не шустри, — хорохорится дед. — Больно сверёжкой. Я во льдах ходил, упаси господи. Как-никак второго класса матрос. Пятый раз иду в Арктику, трижды упаси господи.

К вечеру море стерженеет.

Собираясь в Арктику, я робко надеялся, что на мою долю выпадут и штормы, и даст бог, даже небольшое кораблекрушение. До кораблекрушения дело пока не дошло, а в остальном программа осуществлялась.

Море напоминало взбесившуюся горную страну. Вершины вдруг проваливались, а пропасти лезли вверх, рождалась новая

гора, и эту мутно-зеленую гору море, балансируя, несло на судно.

Мы работаем на палубе, крепим груз. Нас то и дело окатывает. Ветер воет в снастях, рвет со шлюпок чехлы. Гулко хлопает брезент, подрагивают туго натянутые тросы. Я поднимаю голову: косой горизонт и раскачивающийся над релингами фонарь. Вот и все. Откуда этот фонарь над волнами? Где я видел его? Иллюстрация ко всем морским романам, читанным в детстве?

Судовой плотник Аверин

Ему тридцать два года, но выглядит он старше — тонкое худое лицо, тихие глаза, холёные, несколько фатоватые усики. Когда-то Олег

Аверин служил на спасателях (плавает он с пятнадцати лет), потом ходил с рыбаками, тонул у Лабрадора, горел на танкере. Короче, хлебнул моря. Но в нем нет ничего от хрестоматийного морского волка. Ни подчеркнутой матерости, ни пошлого ухарства — мягкость, скромность, опрятность. Матросскую робу Аверин носит с редким изяществом и остается элегантным даже в длинном до колен, замасленном бушлате. Он предупредителен, сдержан в словах и жестах. Непонятно только, где он набрался таких манер. Когда он говорит, неторопливо, со спокойной убежденностью, его уверенность передается всем.



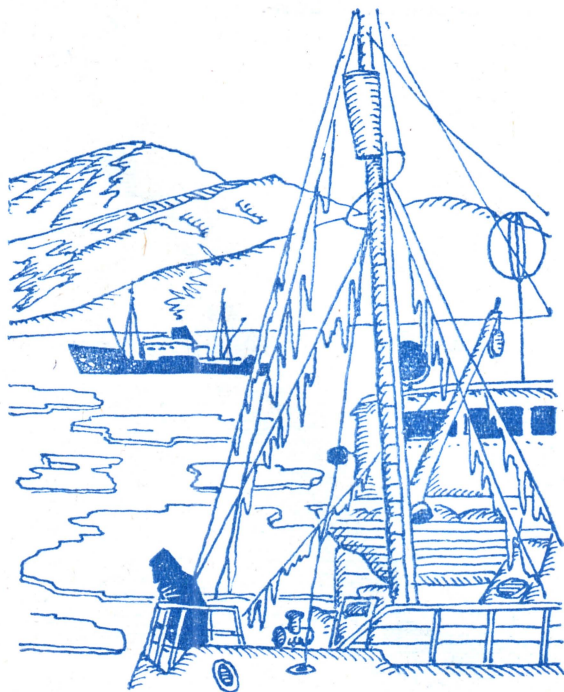
Как-то я обронил фразу по-английски. Аверин тут же меня поправил. Я начал спорить.

— Что ты, — мягко сказал Аверин. — Англичане так не говорят. Вот в Портсмуте...

С тех пор меня постоянно подмывало схватиться с Авериним: очень уж он был уверен в себе, неуязвим. Однажды речь зашла о польском фильме. Я видел этот фильм, знал роман, по которому он был снят. Я понял, мой час пробил, и развернул знамена. Я сыпал именами режиссеров, названиями фильмов, датами. Я захлебывался от красноречия. Аверин хранил молчание. Он молчал так выразительно, что в конце своего монолога я почувствовал неловкость.

Мы играем в шахматы, покуриваем. В общем, неплохо проводим время. Меня только угнетает однообразие эндшпилей: я всегда проигрываю. Вот и сейчас на королевском фланге какая-то безобразная толчея, паника. Я говорю свое привычное «сдаюсь», и мы бросаем шахматы.

В каюте Аверина (он делит ее с боцманом) я не нахожу среди книг ни шпионских романов, ни морских историй, зато много поэтических сборников. Целая полка над кроватью. Он эту полку таскает за собой по всему свету. На столе раскрытый томик Фета.



— Да, — роняет Аверин, перехватив мой взгляд. — Фет... Что-то говорили о нем в школе, уже я не помню, а вот открыл — такая красота. Послушай...

Я помню, отроком я был еще; пора
Была туманная, сирень в слезах

дрожала;

В тот день лежала мать больна,

и со двора

Подруга игр моих надолго уезжала.

Мы выходим на палубу.

— Смотри, — Аверин берет меня за руку. — Гости.

Через фальшборт лезут низкорослые смуглые люди в оленьих одеждах, резиновых сапогах и с болгарскими сигаретами в зубах. У одного на шее болтается транзистор. Он, видно, с ним никогда не расстается, меломан.

— Капитана, капитана! — лопочут ненцы и улыбаются сморщенными личиками.

— Сейчас, парни, — Аверин тоже улыбается. — Сейчас доложу. Будет вам капитана.

В полдень мы стали на якорь и уже собирались спустить на воду понтон, как прилетел ледовый разведчик. На нас двигалось ледяное поле. «Мста» снялась с якоря и около пяти часов дрейфовала.

Вездеход, два мотобота системы «Дори» (их попросту зовут дорами) и плашкоут — металлический понтон — вот хозяйство, которыми заведуют Тухватуллин и Сенин. Сейчас они снова гоняют двигатели. На палубе голубой чад, запах гари.

— Порядок! — кричит Тухватуллин и скалит прокуренные зубы. Черненький такой, ухватистый мужичок. Сенин — рыхлый блондин с широким лицом и плоскими волосами. Он сидит на дне доры, ковыряется в моторе, сопит. Что-то там у него заколодило.

Тухватуллин и Сенин — архангельские шоферы, они с одной автобазы, оба в море впервые. У того и у другого нелады с морской терминологией. Вконец измучившее их голландское слово плашкоут они переименовали каждый на свой лад. Тухватуллин произносит «плашковый» — это звучит у него как фартовый, Сенин говорит «плашке т» и тихо смеется.

Впрочем, маялись они недолго. Увидев, как плашкоут болтается на волне, кто-то окрестил его балалайкой. С тех пор плашкоут иначе не называли.

Когда «Мста» снова подошла к берегу, полярной станции уже не было видно. Над водой стлался плотный туман.

Мы спустили плашкоут и начали выгружать из трюмов бочки с соляром. Тут появилась первая льдина. Она вынырнула из-за носа «Мсты» и пошла на понтон. Его оттащили, дали льдине пройти, снова приваляли к борту.

А льдины все шли и шли. Они выплывали из сырой мглы, клубившейся над водой, глухо ударяли о форштевень, медленно погружались, потом всплывали, с них текла вода, они сипели, скребли о борт. Если ребята не успевали заметить их, льдины напоминали о себе тупыми ударами. Тогда на судне стравливали конец, а там, внизу, на понтоне, хватались за багры.

— Начинается Арктика, язви ее душу, — весело говорит Кадушин, а по лицу — какая-то тень. Воспоминания, что ли? Опыт? Знание этой самой Арктики? Он ведь здесь чуть ли не в десятый раз.

Становлюсь грузчиком

Я навел ведро мыльной воды. Пора начинать уборку. Но мне не хочется уходить с палубы. Вот-вот должна показаться дора. На мостике включили прожектор. Орет в тумане тифон.

Ребята поднимаются на борт продрогшие до костей, в сырой одежде, отвороты сапог подняты и блестят. Лица у всех серые, осунувшиеся, а глаза — странные, подведенные, как у цирковых клоунов: ночью выгружали уголь.

Я орудую шваброй у капитанских дверей и вдруг слышу... слышу такое, что сердце у меня начинает прыгать.

— Вы только послушайте: он замешкался. Не надо рот разевать. Это Арктика, — рычит капитан. — Она шуток не шутит. Запомни, Творогов! Замешкался он, а у нас впереди еще семь станций... — Пауза. — Кто у нас уборщик? — Второй штурман называет мою фамилию. — Студент? Какой еще студент? А-а... Вот тоже дал бог работников... Ладно, поставьте его в смену первого помощника.

Его... Меня, то есть. Ведь это обо мне речь. Ведь это я теперь грузчик! Ах ты, боже мой! Это значит, теперь я буду вставать вместе со всеми, уезжать на берег, а потом возвращаться. Теперь я буду ворчать, когда в душевой не окажется мыла.

Лева Творогов допустил оплошность:



упал с понтона. И хотя не дело радоваться бедам ближнего, но как тут было не ликовать.

Мы стоим на понтоне, который следом за дорой выбирается в море. В воздухе холодная морось. На берег идет накат. Желтые волны несутся вдоль отмелей и с шипением разбегаются по песку.

— Дыхание моря, — говорю я.

— Да-а, — отзывается доктор. — Бронхиальная астма.

Грохот волн все сильнее. Начинается прилив. Мы молча глядим туда, где за грядами грязно-зеленых валов маячит «Мста».

Сегодня на полярной станции нас встретил долговязый парень в плаще с капюшоном, румяный, с рыжей бородой, похожий на веселого дьячка.

— Ну, спасибо, — сказал он, увидев ящики с огнетушителями. — Хоть это не забыли. У нас их, знаете ли, пятьдесят штук... Кто у вас там наши заявки читает? Привезли две с половиной тонны листового железа. А нам всего-то надо на два ведра.

На берег — ящики, с берега на понтон — металлические бочки из-под горючего. Всю смену без перекуров. Сейчас мне трудно сжать пятерню в кулак, кисти словно ватные, кончики пальцев опухли и горят.

Слова

Работа такая: груз из трюмов переваливается на плашкоут, дора тащит эту, балалайку, среди льдов, на крутой волне или в тумане, мы переносим бочки, ящики и мешки на берег, возвращаемся и все начинается сначала. И так изо дня в день. Работа — отдых — работа. Восемь часов — через восемь. Мне еще надо привыкать к этому графику.

После душевой я проглатываю еду, не различая вкуса, бреду в кубрик, забираюсь под одеяло. Сладко ноют в тепле кости, горит лицо, задубевшее на ветру и морозе.

Перед сном я листаю книжку К. Бадигина «По студеным морям» — очерки по истории русского полярного мореплавания. Мне трудно следить за мыслью — повествование, всякий связанный текст меня утомляют. Я изучаю приложение к книге, словарик поморских слов и выражений.

Лексика, относящаяся к природным явлениям, очень богатая, со множеством тонких, почти неуловимых различий. Вот какие, например, слова найдены для обозначения пасмурной погоды:

бухмарь, также бухмара — пасмурная погода, тьма от нависших облаков;

мазгара — погода на море с морозящим дождем;

морозга — мелкий с изморозью дождь;

морок — пасмурная погода с туманом и морозящим дождем;

чамбра, также шкойда — морозящий дождь на море или мокрый снег, идущий в тумане;

челуга — мелкий с изморозью дождь в тумане.

Для разных видов льда имеется около ста названий! Понимаю: плавание во льдах, профессиональная потребность, нужда были источником этого словотворчества. Но не богатство словаря меня поразило. Удивительным было другое — как безошибочно поморы закрепляли в словах свой опыт, какие точные, меткие, какие выразительные слова они находили!

Бакалда, снежура... Мне не надо заглядывать в словарь, чтобы увидеть эту кашу из пропитанного водой снега.

Гладуха, гладца. Тоже все понятно.

Вот слово сморозь. Надо ли объяснять?

Или молодик.

Или битняк.

Есть лед яснец. Такой он чистый, прозрачный...

Я читаю: шауш, шуга, шерах, шорах и

слышу, как трутся, шуршат, ломаются молодые льдинки.

А что такое липуха? Конечно же, густой, мокрый снег.

Старший рулевой Кадушин

Мы идем на восток. С правого борта проплывают глыбы островов, чуть припорошенные снегом. Жуткий покой, голые куски камня, неживое металлическое свечение красок — вот он, «север вне последних поселений».

За кормой садится солнце. Грозное величие, с каким плоский, кроваво-красный диск опускается в океан, рождает во мне ощущение пронзительной человеческой тоски по теплу. Вероятно, я был не первым, кому хотелось закричать от первобытного холода, одиночества и чувства слабости перед цепенеющей ледяной пустотой...

Тут на палубу вышел камбузник Миша. Он взмахнул грязным ведром, и за борт полетели картофельные очистки.

На берегу двухэтажный деревянный дом, утыканный антеннами, хозяйственные постройки; в тундре, у оконечности бухты, — избушка промысловика.

На понтоне — тридцать тонн угля. Мы отваливаем от борта. На судне зажигают рейдовые огни. «Мста» сразу делается уютной, обжитой и уезжать не хочется. Поднимающийся к ночи ветер холодит щеки. Сидя на куче угля, я вижу, как ребята в чистых рубашках, с влажными после душа волосами, пробегают в столовую. Там тепло, сухо, горячий чай. Все это мы получим через восемь часов.

Включают трансляцию. На пароходе, где-то в снастях, тягуче и ласково начинает гитара... Но вот я уже ничего не слышу, кроме скороговорки мотора.

За рулем доры Кадушин. Время от времени он оглядывается, нижняя губа прикушена, вязаная шапочка надвинута на глаза. Он сосредоточен и молчалив. Таким я видел его только однажды, на Марре-Сале, когда мы два часа проблудили в тумане. Кадушин не ругался, не оправдывался. Надвинул шапочку на глаза, сидит на корме и молчит. Но было заметно, что он переживает. Он просчитался, дал маху. Профессиональная его гордость была оскорблена. Такое, видно, случалось не часто.

— Палубной команде по местам стоять. Кадушину — на руль.

Первая фраза, которую я услышал по

судовой трансляции. Потом я слышал ее всякий раз, как только «Мста» заходила в порт, швартовалась или, как это было на Диксоне, выбиралась с забитого судами рейда... На пароходе орут динамики. «Кадушину — на руль», а он не спеша, вразвалку, шагает на мостик — плотный (чисто сбитень, говорит про него дед Вонифатий), с рыжей свирепой бородой и веселыми глазами.

По-моему, Кадушин умел делать все. Сам ничему за свою жизнь толком не научившийся, я с завистью смотрел на него. Он мог быстро и ловко принайтывать груз во время шторма и выстирать робу в холодной соленой воде. Я видел, как он ходит на шлюпке под парусами и на веслах (ребята развлекались этим на Вайгаче). Он точнее других бросал лить, умел вязать узлы, плести маты, койлать концы, красить, швабрит палубу. И все это легко, без видимых усилий и, главное, — хорошо.

Помню, я драл щеткой шлюпочную палубу, а Кадушин (он только сменился с вахты) стоял и с мукой на лице наблюдал за мной. Недолго, правда, наблюдал.

— Погоди, — сказал он торопливо. — Да погоди ты... Что без толку-то упираться. Легче, легче... Тут танцевать надо. Умрешь ведь когда-нибудь на палубе. — Он взял у меня щетку. — Вот так, так ее.

Он порхал, выписывал вензеля, он танцевал. Он забыл про меня. Я успел выкурить сигарету.

Было это в нем: не только умение, но и готовность работать, желание сделать все наилучшим образом. Жившее в нем (может быть, неосознанное) стремление к совершенству возводило все его в общем-то немудреные матросские дела в ранг искусства. И как всякий настоящий художник, он был свободен в своем искусстве. Может, от этой-то свободы и проистекали его невозмутимость, добродушие, постоянная веселость. Мне кажется, Кадушина любили все.

У него есть друг, молодой матрос Вася Морейченко. Не совсем понятно, что их связывает, хотя роли распределены четко. С одной стороны — обожание, восторженная привязанность (это Вася), с другой — снисходительное, немного насмешливое покровительство. А может, этого достаточно?

Сейчас они болтают за кучей угля, на другом конце понтона. Кадушина выдает скорый вологодский говорок. Морейченко, тот почти поет — мягкая южная речь. Он старательно расчесывает свою скудную бо-

роденку, которая так не вяжется с его пухлыми губами и румяным лицом.

— Да не смеши ты людей-то, Василий, — говорит Кадушин. — У меня на коленке больше волос.

В полночь мы пьем чай на полярной станции. В гостиной с книгой на коленях дремлет чумазый дизелист. Свет выключен (полярники экономят энергию), но в комнате довольно светло. Перед нами большое блюдо с холодной олениной, чайник, белый хлеб, масло.

Работа окончена. Мы собираемся на «Мсту». Светает. На станции вяло начинают брехать собаки. Еще бы запах парного молока — и полная иллюзия, что ты в деревне. Мальчишке-дизелисту надо везти еду про-



мысловику. Он поднимает упряжку, ругается, раздаёт собакам пинки, привязывает к нартам бачок с едой, усаживается.

— Эй!..

Упряжка вылетает в тундру и с лаем несётся на солнце.

Мы отваливаем. Доктор стоит на понтоне с охапкой травы для своего гусенка.

Остров Кравкова

Глаз упирается в глухую каменную стену — так близко мы ещё ни разу не подходили. Только с палубы я разглядел остров — голый, каменистый, с двумя домиками на вершине.

Снова был уголь. Мы таскали его в мешках. Есть правило: если полярная станция не имеет транспортных средств, экипаж переносит груз на расстояние двадцати метров от линии прибоя. Вот мы и таскали уголь в гору, метров за пятьдесят. Какие уж тут правила, когда на острове лишь трое зимовщиков.

Уже после первого часа работы у меня подкашиваются ноги, а поясница, так та прямо раскалывается.

— Разжег бы костер, — говорит первый помощник, — да чай заварил... Погрелись бы.

Уговаривать меня не надо. Я бросаю мешок, собираю плавник, вешаю на огонь чайник.

Хорошо у костра, тепло... Дымится в кружках чай. Кейфуем мы недолго. Нас торопят с парохода: лед. Поднимают первую бригаду. Ребята сходят на берег молчаливые, невыспавшиеся. Мешков не хватает. Откуда-то взялась волокуша — лист железа с двумя тросами. В нее впрягаются пятеро. Быстрее, быстрее, быстрее...

И вот мы покидаем ещё одну станцию. На берегу остается гора угля и затухающий костер. Он посылает в небо прямую и тонкую струйку дыма. Полярники стоят, подняв над головой руки, — три темных фигуры. Они остаются на острове до будущей навигации.

Запах хлеба Идем во льдах. «Малый» — «стоп». «Самый малый» — «стоп». «Полный назад».

И так целые сутки. Как у них там, на мостике, нервы не сдают. А в машине? С ума сойти!

«Самый малый» — «стоп».

— Это все равно, что мертвого за нос тянуть, — говорит Кадушин.

С левого борта, за ледяными полями — караван: два ледокола и шесть судов. Трудно только сказать, идут они или стоят. А может, и вмерзли уже в лед.

Работаешь на палубе, и вдруг запах, теплый, домашний, такой знакомый — на камбузе пекут хлеб. Закрываешь глаза, все исчезает и остается только запах хлеба, и уже видишь зимнее утро, кухню и на стене отсветы огня из русской печи...

Остров «Правды»

Мы битый час искали подхода к острову, пока нашли удобную бухточку. Удобную, если не особенно привередничать.

Льды были и здесь, их несло течение и северо-восточный ветер. Половина времени и сил у нас уходила на возню со льдом. Это больше всего и изматывало. Ворочаешь ящики и все оглядываешься, а потом кто-то кричит: «Лед!» Ребята хватают багры и падают в дору. Надо успеть встретить лед у входа в бухту. Дора упирается носом в льдину. Сенин дает полный ход, и льдина, покачиваясь и сипя, отваливает.

Тухватуллин днюет и ночует на острове. Ему удается поспать только в перерыве между сменами, иногда он «добирает» прямо в кабине вездехода.

Четыре утра. Мы высаживаемся. Тепло, тихо. Пора тащить понтон на берег, но вездехода нет.

— Сбегай на полярку, — говорит мне первый помощник. — Наш друг, видно, все еще спит.

Я взбираюсь по береговому откосу, бегу. Солнце за горизонтом начинает свою работу. Густая синева на востоке разрывается, небо светлеет — бесконечное количество оттенков зеленого. Потом по всему небу полосы, хвосты, шлейфы — оранжевые, желтые, лимонные, красные. Солнце стремительно поднимается, и небо на востоке начинает плавиться. Края облаков окружены сиянием, они точно обуглились, на них больно смотреть. С запада тянет ветерок. Мне жарко, я снимаю шапку и оглядываюсь. На судне гасят огни. Ребят на берегу уже не видно, а домики станции еще не показались. Я один. Я прыгаю по камням, мне легко, хочется петь. Ласковый утренний ветер, солнце, чистое небо и внезапное ощущение острого, пронзительного, как свет в глаза, счастья... Откуда такое? Почему

му вдруг? Природные влияния? Тепло и солнце после холодов и туманов последних дней? Может, все оттого, что нет на моем лице угольной пыли, нет усталости? Может, это ощущение здоровья и молодости? Тогда почему я не знал его раньше?

Я распахиваю тяжелую дверь. В залитой солнцем кают-компании пахнет свежесваренным кофе. Полярники завтракают. Во главе стола — Тухватуллин в расстегнутой рубашке. На его воспаленном от недосыпания лице играет улыбка, глаза блестят.

— А-а,— говорит он, заметив меня.— Уже... Выпей кофе. Сейчас поедем.

Где наш дом

После, когда мы закончили выгрузку, снялись с якоря и снова шли на восток, я продолжал думать про утро на острове, старался понять, почему был так счастлив там, один, на камнях. Ну, хорошо, солнце и тепло после туманов... Короткий миг свободы, свободы от усталости, от опостылевшей необходимости вечно спешить... Ну, здоровье... Хорошо. Все так. И вместе с тем эти объяснения меня не удовлетворяли. Еще там, на камнях, я заметил: какая-то неоформившаяся мысль поселилась в сознании, какое-то сомнение.

И вот сейчас, за обеденным столом, мне внезапно открылось, что суть была не в самом чувстве легкости и радостного покоя. Тот счастливый миг имел цену лишь постольку, поскольку существовала еще другая, моя настоящая жизнь. Каким бы ярким ни был тот миг, тот неожиданный дар, сам по себе он не мог дать полноты счастья, эта полнота складывалась из ощущения минуты и мысли о том, что я оставил: недочитанные книги, друзья, мое дело, моя жизнь.

— Счастье,— презрительно цедит Юра Тюменцев,— романтика...— Он сидит мрачный, с красным, обветренным лицом. В зубах у него потухшая папироса.— Романтика,— повторяет он, хотя о романтике я не заикался.— Ты сначала съешь свой бутерброд с маслом, а потом про романтику говори. Или на горькое потянуло? У меня теща после пирожных всегда черный хлеб с чесноком ест... Для тебя это путешествие, прогулка, каникулы, а для меня жизнь. Понял?

Он ругается, вспоминает о письмах жены («Я больше не могу. Я завидую другим

женам»), клянет Арктику, льды, свою морскую жизнь («пропади она пропадом»), снова говорит о письмах жены. Он ни на кого не смотрит и говорит, говорит, все это каким-то краем бьет по мне, и мне делается стыдно. Черт меня дернул пуститься в рассуждения.

Что же все-таки с ним сегодня? Устал? Так все устали. Ладно, плавать он все равно не бросит. Заработает себе плавательный ценз и пойдет штурманом. Он здесь на месте. Я знаю, как благоволит к нему капитан. Знаю, с каким лихим щегольством Юра водит дору, как гордится тем, что забывает третьего штурмана в навигации. Ну, а может, жена? Радиограмма какая-нибудь? Дурные вести? Тюменцев много и охотно рассказывал про жену, что меня удивляло. Другие моряки этого не делали, а он говорил, и всегда с нежностью, которую, как ни старался, не мог скрыть. Я замечал, как ранили его шуточки ребят и двусмысленные намеки. Обычное дело в мужской компании — но лучше бы им его не трогать. Женился Тюменцев недавно, жена его по-прежнему работала в Ленинграде, то ли в морском училище, то ли в картографическом управлении. Я видел ее фотографию: хорошенькое кукольное личико, круглые глаза, вздернутая верхняя губа. Такие многим нравятся. Могу представить, как ее обхаживают щеголеватые курсанты и молодые офицеры.

— Она там одна, понимаешь... А кругом эти коблы. Знаю я их...

... И все же не надо было наседать на меня: прогулка, каникулы, игра... Я уже понял: корабли, острова, льды — для меня это пока, для моряков это жизнь. Я работал рядом с ними, на миг стал одним из них, забылся, а потом пришла та минута, и мне открылась степень этой близости.

Остров Исаченко Мы привезли сюда смелую зимовщиков. С ними женщина. Она прижимает к груди заботливо укутанную кадку с каким-то растением. Из-под тряпок выглядывают три зеленых листика.

— Что это? — спрашивает капитан.— Хрен?

— Нет,— отвечает женщина.— Это пальма.

— Пальма? Скажи на милость...

Женщина еще что-то объясняет капитану, но он уже ее не слышит. Они стоят со

вторым штурманом и наблюдают за высадкой на понтон.

— На борту надо меньше ковыряться,— угрюмо говорит капитан.— Полтора часа грузились...— Потом уже другим тоном:— Не задерживайтесь. Начинает работать ветер, не тот, который нам нужен.

Снова туман и льды. На полубаке — впередсмотрящий в плаще, наброшенном на ватник. Это Вася Морейченко. Он оглядывается и машет мне рукой. Бороденка его заиндевела.

Туман. Надрывается ревун. Похоронно звонит рында.

Остров Уединения

В четыре утра, как всегда, смена была на палубе — молчаливые люди в наглухо застегнутых ватниках и штормовках с опущенными капюшонами. Ночью выпал снег. Вся в белом, непривычно чистая и какая-то незнакомая «Мста» выглядела елочным пароходиком, нарядной новогодней игрушкой.

В шесть часов за легкой пеленой тумана открылся остров. На станциях, какие я видел, домики полярников обычно лепились на вершинах, придавая голым и неприветливым кускам камня обжитой вид. Здесь они прятались между лысых сопок, в глубине узкой долины и напоминали декорации романтической сказки. Доктор Начинкин сказал мне, что на острове можно было бы поставить «Пера Гюнта» или что-нибудь еще в том же роде. Это была прекрасная мысль, но нам не дали ее развить. Мы везли на берег телок деда Вонифатия. Телки то жалась друг к другу, то шарахались в стороны, сбрасывая в воду тюки с сеном. Мы стопорили ход и принимались вылавливать сено из снежной каши.

Приятно идти с первым плашкоутом. На берегу тебя ждут, выходят встречать, улыбаются, что-то кричат. Рядом с полярниками стоит мальчишка лет шести. Я вспомнил, как в Архангельске к нам подошел человек и попросил второго штурмана, ведавшего погрузкой, взять на остров детский велосипед. Сейчас первым понтоном мы везли трехколесный велосипед, не значившийся ни в одном из коносаментов¹.

Едва мы успели разгрузиться, как остров стало закрывать льдом. Тяжелые грязные льдины шли с севера. Расталкивая их носом

¹ Коносамент — расписка, удостоверяющая принятие груза к перевозке.

дору или бросаясь в обход, мы кое-как добираемся до «Мсты», лезем по обледенелому трапу, поднимаем понтон и торопливо уходим от ледяных полей.

Я просыпаюсь от того, что на судне включают принудительную трансляцию. В кубрике хрипит динамик: «Через пять минут от борта отходит плашкоут». Меня это не касается. Наша смена только через два часа. Чего орать, в самом деле. Кому ехать, тот знает. Я закрываюсь с головой, но меня тут же расталкивают. Льды! С великой поспешностью мы отваливаем от борта, оставляя тех, кто не успел спуститься на понтон. Интересно, где пропадали эти ловкачи, пока мы набивались в дору.

Высаживаемся. Что же мы привезли на сей раз? Да многое. Сервант, например. Безобразное сооружение, напоминающее одновременно мучной ларь и книжный шкаф. Я знаю кают-компанию, где этот топорный сервант будет стоять,— тесная комната с закопченным потолком. Но, боюсь, даже ее он не сможет украсить.

— Знаете,— смеются полярники,— мы ведь уже полгода пьем из консервных банок.

— Зато теперь банки будут стоять в серванте,— говорит повариха.

Нам стыдно, словно это мы там, на Большой Земле, напортачили с заявками и накладными.

— Ладно,— мямлит боцман.— Пошаю в кладовой... На судне должна быть посуда.

Остров Уединения был открыт случайно. В семидесятых годах прошлого века на него наткнулся норвежский шкипер, промышлявший зверя. Координаты этого клочка земли были определены неверно, и экспедиции, направляясь на остров, неизменно его не обнаруживали. На картах долго стояла пометка «положение сомнительно». Странный остров... А сейчас мы базарим на берегу, ругаем снабженцев. Маленькие посудные проблемы.

На «Мсте» зажгли ходовые огни. Она снялась с якоря и ходит на горизонте какими-то непонятными курсами. Ветер, угольная пыль, соль. Красные огни костров. Свет тракторных фар, и в этом свете — кружение снежных хлопьев. И тут же, рядом с нами,— мальчишка на велосипеде. Вцепившись в руль и наклонив голову, он сосредоточенно нажимает на педали.

Снова шли льды, и снова, как тогда, на палубе, во время заката, я испытал трепет



перед тяжелым молчанием Арктики и ее ужасающим равнодушием. Картина была такая: грандиозный пейзаж с человеческими фигурами. Но уже по-другому чувствовал я ее и иначе думалось мне. Теперь я видел фигуры. Бывшие вроде необязательной деталью пейзажа, они одухотворяли его. Они, полярники, и продрогшие ребята в грязных ватниках, вдохнули жизнь в эти берега и мерзлые скалы. Мне понадобилось время, чтобы убедиться в справедливости давно сказанных кем-то слов: красоты нет в пустыне, она в душе бедуина.

Я давно забросил свой путевой дневник. Ландшафты перестали меня занимать. Заметив это, я понял, что скучаю о доме.

И вот мы покидаем свою последнюю станцию. Нам вслед летят прощальные ракеты. Минута — и остров пропадает в грязных космах холодного тумана. Прыгает на волне дора с исковерканным планширом. Мы тащим на буксире понтон, привальный

брус которого разбит в щепки. Славно послужила нам эта «балалайка».

Гремит брашпиль, выбирая якорь. «Мста» дает протяжный гудок, и до меня доходит, что наша Арктика кончилась.

А потом утро, день, и вот уже на землю ложатся вечерние тени. А на берегу деревья. Господи, березы! И какие-то домишки, огороды... Мужик с лошадей. На телеге молочные бидоны.

А потом город. Деловито так, скоро бежит трамвай. В вагонах свет. Там люди. И на набережной тоже. В просвете улицы зеленеет глазок светофора. На перекрестке толпа: женщины, дети с портфелями, с кошельками. Обыкновенные люди, не полярники. Они выходят из магазинов, они не смотрят на нас, не замечают пароход на реке, они не видят ни домов, ни неоновых вывесок.

Что знают они о берегу, на котором живут?

Прощание

Слово-то какое — прощание. Точно ножом по живому...

Сырое портовое утро. Мокрые деревья на берегу, блестящий от росы буксир и гудки — сырые, хриплые, спросонья. От воды тянет травой, в темно-зеленой глубине лениво шевелятся длинные водоросли. «Длинней органных фуг горька морей трава...»

Вот и все. Всему конец. С берега вернулся третий штурман, сейчас я получу расчет и уеду.

— Мы здесь недолго. Возьмем лес и — в Англию.

Это Миша Котеночков: «Мы... возьмем... в Англию». Моряк!

Доктор вручает мне медицинскую книжку. Первый помощник говорит слова.

— Поцелуемся.— Кадушин берет меня в свои лапы.— Вернешься к нам?

Мысли мои мешаются, слов нет... Олег Аверин молча смотрит, как я пожимаю ребятам руки. Он в нарядном джемпере из козьего пуха, в белейшей сорочке.

— Вот и все,— говорю я.

— Да,— отвечает Аверин.— Все... Больше уж, видно, не пойдешь с нами.

Мучительное это дело — расставание. Мучительное и безжалостное. Вот была «Мста», были ребята на борту, и нет их.

Вовсю молотит движок катера. Что-то у меня с глазами творится непонятное, и в горле сухо...

На нас стремительно надвигается темный, в подтеках борт какого-то грека. Мы проходим под его кормой и вылетаем на чистую воду.

Ну, вот и посмотрел... А чувство такое, будто утратил я что-то в себе самом. Расстаюсь с детской мечтой — оставляю, покидаю, ухожу...

Что же остается? Моряки, полярники, ненцы, все лица, мелькнувшие передо мной за три месяца. Остаются мутные осенние моря и льды — серовато-стальные, свинцовые, матовые, стекловидные, синие ропаки, торосы с голубыми вершинами. Остаются караваны под низким небом, ледоколы и транспорты на диксонском рейде, их долгие протяжные гудки. Остаются полярные станции с частоколом антенн и опорными башнями ветряков, их домики на вершинах сопков и по низким, усеянному плавником берегам. Остаются черные кресты поморов и обелиск на могиле норвежского моряка. Остаются мальчишка на далеком острове, костры на берегу...

Когда-нибудь все это оживет в памяти, и сердце мое опять занеет завистью и сладкой болью.

ЦЕННЕЕ ВСЕХ ПРОЧИХ...

Н и один драгоценный камень не окружен таким количеством легенд, как алмаз. В древнем Риме, по свидетельству историка Плиния, верили, что «алмаз уничтожает действие яда, рассеивает пустые бредни, освобождает от пустых страхов»; одна из старинных русских книг советует носить алмаз лунатикам — «Алмаз пристойт при себе держати тем людям, кои страждут лунным страданиям и на которых нощию находит стень»; в те же таинственные силы верил и Иван Грозный: «Вот алмаз, блеском дороже и ценнее

ко Поло и в древнерусском «Азбуковнике». Однако сам Бируни к легенде об алмазной долине относился весьма скептически: «И нет конца этим бредням».

И вдруг выяснилось, что легенда о «камне орлов» не лишена оснований. Но выяснилось это уже в XIX веке, когда в Южной Африке был убит голубь, в зобу которого обнаружено 43 алмаза! Не меньше шума наделала и уральская курица, якобы снесшая вместо яйца алмаз, — на самом деле, очевидно, этот алмаз у нее, как у южноафриканского голубя, находился в зобу — птицы любят склевывать яркие, блестящие камешки.

Самые крупные алмазы были найдены в Южной Африке, а самый большой из них — «Куллинан» — весил свыше шестисот граммов. Из него ювелиры сделали 96 бриллиантов общим весом в 1063 карата. А самый первый алмаз в Южной Африке нашла девочка в речном песке....



всех прочих. Никогда я его не любил, он укрощает ярость и сластолюбие, дает воздержание и целомудрие. Лошадь, не то что человек, умрет от малейшей частицы его, истертой в порошок и данной в питье». — рассказывает в своих воспоминаниях о посещении царской сокровищницы и объяснениях Ивана Грозного английский дипломат Горсей.

Не меньше легенд и о происхождении алмазов. Ученый из средневекового Хорезма Аль-Бируни пишет: «Есть и такие люди, которые утверждают, рассказывая об алмазах, что они находятся в пропасти, куда ни для кого нет ни прохода, ни спуска, и что промышленяющие ими люди разрезают на части тело животного и бросают туда куски свежего мяса, которые падают на алмазы, и они прилипают к ним. А там летают орлы и грифы, которые знают эти места и привыкли к таким действиям людей, перестали их бояться и к ним причулись. Они схватывают мясо и несут его на край ущелья, где начинают его пожирать...», страшивая с него все то, что к нему пристало, как обычно это делают все животные, которые, встряхивая свою добычу, очищают ее от грязи и пыли. Затем приходят люди и подбирают то, что может упасть там из алмазов. Поэтому алмаз и называют «камнем орлов».

Легенда об алмазной долине перекочевала и в сборник «Тысяча и одна ночь», есть упоминание о ней и у Эпифания Кипрского — древнегреческого историка и философа, есть она и в армянском сборнике о камнях Мехтара Анривакского, в сочинениях Мар-

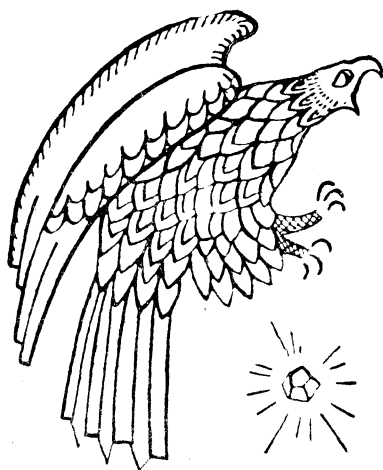
АЛЕКСАНДР ГУМБОЛЬДТ ИЛИ ПАВЛИК ПОПОВ?

На Урале первый алмаз тоже был найден подростком, хотя честь открытия приписывается знаменитому путешественнику и ученому-энциклопедисту Александру Гумбольдту.

Действительно, летом 1829 года Александр Гумбольдт путешествовал по Уралу и в одном из писем министру финансов Канкрину писал: «Урал — истинное Дорадо, и я твердо уверен в том (основываясь на аналогии с Бразилией, я уже два года составил себе это убеждение), что еще в Ваше министерство будут открыты алмазы в золотых и платиновых россыпях, и если ни мне, ни моим друзьям не удастся совершить это открытие, то во всяком случае наше путешествие заставит других добиться искомого».

Предсказание знаменитого ученого оказалось пророческим. Познакомившись по пути на Урал с графом Полье, владельцем Крестовоздвиженских золотых приисков, и получив от него приглашение, Гумбольдт принял его, посетил прииски графа и дал точные указания, где искать алмазы. В тот же день при вторичной про-





мывке отвалов и был найден первый в России алмаз.

Так гласит официальная легенда. Но как было на самом деле?

В 1882 году в «Записках Уральского общества любителей естествознания» появилась статья члена общества Н. И. Ощепкова под интригующим названием: «Кто открыл на Урале алмазы?» В этой статье автор, основываясь на документах, доказывает, что честь находки первого алмаза принадлежит не Гумбольдту, а четырнадцатилетнему Павлику Попову. Однако с оговоркой, что открытие это было сделано не только случайно, но и как в Южной Африке, «по детскому любопытству к блестящим камешкам», которые могли быть как алмазом, так и ничего не стоящим кварцем.

Толчком к «следствию» по делу открытия алмазов в России для Ощепкова послужила статья горного инженера Карисва, опубликованная в 1831 году в «Горном журнале». Карпов сообщал: «Примечательнейший из приисков, ныне разрабатываемых, есть Адольфовский (очевидно, Карпов называет Крестовоздвиженский прииск по имени графа Полье, которого звали Адольфом. — Ю. Я.), не по богатству золотом, но потому, что в россыпях его найдены алмазы, первые в России... Алмазы открыты в сем приiske по прибытии на завод графа Полье, который приказал промывать вторично грубые шихи, остающиеся после промывки золотоносных песков, и в то же время между множеством кристалликов горного хрусталя и серного колчедана открыт в них первый алмаз Урала».

По первому впечатлению статья Карпова полностью подтверждала версию о первооткрывателе Гумбольдте. Но Ощепкова удивило,

почему Карпов, отлично осведомленный, кто и как открыл на Урале алмазы, фамилию Гумбольдта в названной статье не упоминает совершенно.

Еще больше удивила Ощепкова вторая статья в том же «Горном журнале», появившаяся вслед за первой, но уже за подписью известного русского учено-геолога М. Энгельгардта, который описывал свои впечатления от вторичного путешествия по Уралу.

Энгельгардт писал: «В июле месяце 1829 года открыты случайно алмазы на Западном склоне Урала в дачах графини Полье, близ принадлежащих ей Крестовоздвиженских россыпей». И далее: «Алмазы были обнаружены молодым минералогом Ф. Шмидтом. Это произошло 5 июля 1829 г.»

Откуда такое противоречие? С одной стороны, судя по знаменитому письму Александра Гумбольдта, — алмазы были открыты именно им 21 июня, а с другой — 5 июля и не Гумбольдтом, а совершенно неизвестным минералогом Шмидтом.

Ощепков стал искать все, что имело отношение к открытию алмазов на Урале. В результате у него в руках оказался ряд любопытных документов, в том числе и письмо самого графа Полье министру финансов Канкрину. Вот как граф описывает находку:

«Между множества кристаллов железного колчедана и галек кварца, представленного мне золотоносного песка, открыл я первый алмаз».

В этой части письма со статьей Карпова как будто не расходится, сомнение лишь в одном: как граф, понимающий в минералогии столько же, сколько в русском языке, которого он не знал совершенно, мог отличить крошечный кристаллик алмаза от точно таких же кристалликов горного хрусталя?!

Очевидно, и сам граф понимал всю комичность ситуации, потому и вынужден был объяснить находку подробнее: «Алмаз был найден накануне означенного дня (то есть накануне приезда графа в именье. — Ю. Я.) 14-летним мальчиком из деревни Колиной Павлом Поповым, который, имея в виду награждение за открытие любопытных камней, пожелал принести свою находку смотрителю, а этот последний, полагая, что доставленный ему мелкий камень есть ни что иное, как тяжеловес¹ и потому не заслуживающий внимания, присоединил его к прочим минералам, впоследствии им мне

представленный... Три дня спустя другой мальчик нашел второй алмаз».

Письмо графа разъяснило многое. Во-первых, оно, так сказать, документально закрепляло честь находки первого алмаза в России за Павлом Поповым, который по указанию министра Канкрин получил за это вольную — большая редкость в то время! И, во-вторых, письмо точно указывало дату открытия — 5 июля, из чего следует, что Гумбольдт, бывший в это время уже по другую сторону Урала, в Богословском округе, к находке алмаза отношения не имеет. Очевидно, и Крестовоздвиженские прииски Гумбольдт посетил самостоятельно, а не в качестве почетного гостя графа Полье, который до своего уральского имения добрался гораздо позже Гумбольдта.

ЗАБЫТЫЙ ПЕРВООТКРЫВАТЕЛЬ

Но откуда тогда взялся молодой минералог Ф. Шмидт, которого в качестве истинного первооткрывателя алмазов на Урале упоминает М. Энгельгардт?

Дальнейшие поиски документов помогли пролить свет и на эту загадку. Оказалось, что первым существование алмазов в золотоносных песках Урала предсказал не Гумбольдт, а Энгельгардт, который еще в 1826 году, во время своего первого путешествия по Уралу, сопоставил платиносодержащие россыпи по речке Ису с алмазным округом Бразилии и

¹ На Урале так называли ранше топазы.





нашел их полное сходство. Знал об этом Гумбольдт — трудно сказать, но зато из его же дневников известно другое: Гумбольдт был точно в тех же местах, где и Энгельгардт, на тех же приисках Нижнетуринского завода, и несомненно слышал о предположении Энгельгардта от горных инженеров завода. Собственно, и его знаменитое письмо министру Канкрину, где он Урал сравнивает с Дорадо (очевидно, имеется в виду Эльдorado), написано им после посещения Нижнетуринского завода.

Но авторитет Гумбольдта тогда был настолько велик, что его даже побоялись поколебать «подозрениями». И когда вдруг всплыло имя минералога Ф. Шмидта, подтвердившего полное сходство уральских алмазов с бразильскими, возникла любопытная версия, что алмазы были подброшены в отвалы Крестовоздвиженских приисков «услужливой рукой доброжелателей Гумбольдта». Как сообщал «Горный журнал» № 7 за 1848 год, по этому поводу завели особое дело, которое, однако, вскоре было закрыто, так как алмазы, и тоже очень похожие на бразильские, нашли и в других платиновых россыпях Урала.

Но вернемся к письму графа Полье министру Канкрину. Зачем, спрашивается, графу понадобилось называть имя Павлика Попова, утаив в то же время фамилию минералога Ф. Шмидта, настоящего открывателя алмазов? Этому есть объяснение.

Когда Шмидт явился к графу с неожиданной находкой, естественно, сразу же был вызван и смотритель вашгердов¹, который показывал Шмидту шлихи и разные камни, оставшиеся после про-

мывки. На вопрос графа смотритель признался, что камешек, который вызвал такой интерес, он накануне отобрал у мальчугана, помогавшего взрослым промывать золото, и приложил к шлиховым камням, считая, что это прозрачный и не имеющий цены кристалл топаза-тяжеловеса. Поскольку от смотрителя не удалось добиться, где же нашелся первый алмаз, пришлось искать и мальчика, так и не подозревавшего, что же такое он на самом деле нашел.

Таким образом, граф и Шмидт убедились, что алмаз был действительно найден в песках Крестовоздвиженских приисков.

Мальчика, допросив с пристрастием, отпустили домой, а перед графом встал вопрос: как донести о находке? Он отлично понимал, какой переполох поднимется в Петербурге, когда туда дойдет известие об алмазе — ведь это первый в России! Вполне вероятно, что вслед за его письмом министру сюда, на Бисерский завод, нагрянет чиновник департамента с предписанием проверить находку лично... Вот почему граф, скрепя сердце, и вынужден был рассказать министру Канкрину полуправду: мальчик нашел любопытный камешек (что было правдой), а он, граф Полье, узнал в этом камешке алмаз (что было явной ложью). А о минералоге Шмидте, истинном первооткрывателе, граф упоминать нужным не считал — да и стал бы управляющий приисками (а именно на эту должность и был приглашен инженер Шмидт) опровергать своего хозяина, даже если бы его и стали расспрашивать ревизоры!

Такова история находки на Урале первого алмаза. Но как живучи легенды! Спустя пятнадцать лет после того как Ощепков провел свое «следствие» по делу открытия алмазов на Урале и назвал имена истинных первооткрывателей, Д. Н. Мамин-Сибиряк, работая над очерком «Самоцветы», вновь воскрешает старую версию о Гумбольдте: «Первое место по местонахождению алмазов мы должны отнести Крестовоздвиженским золотым промыслам, где в первый раз были найдены уральские камни по указанию путешествовавшего по Уралу Гумбольдта».

Подтвердилось и второе предположение М. Энгельгардта: уральские алмазы действительно очень похожи на бразильские и по окраске и по форме — почти все они додекаэдры ромбической формы.

Вероятно, алмазы в золотых и платиновых песках попадались на

Урале и раньше, но старатели и горщики принимали их за топаз или хрусталь, из-за малых размеров не имевших никакой цены, а потому выбрасывали.

Но едва пронесся слух, что найдены самые дорогие самоцветы, а главное, — как они выглядят, как находки посыпались одна за другой. Четыре алмаза были найдены даже под Екатеринбургом, в деревне Малый Исток. — случилось это в 1831 году, и самый крупный из четырех кристаллов весил пять восьмых карата. А всего за первые тридцать лет на Урале нашли 130 кристаллов, самый большой из них весом в 4,5 карата.

ИСТОРИЯ ЖДЕТ ПРОДОЛЖЕНИЯ

Этим, собственно, и закончились все дореволюционные находки на Урале алмазов, хотя царское правительство было очень заинтересовано в новых месторождениях «венценосного» камня.



У всех придворных еще были свежи в памяти знаменитые «бриллиантовые вечера» Екатерины II, когда императрица, обожавшая сказки из «Тысячи и одной ночи», устраивала картежные игры, участники которых расплачивались друг с другом кучками бриллиантов. И как были бы кстати для подобных вечеров в императорских покоях не дорогие бразильские камни, а свои, уральские! Но находки алмазов становились все реже, а потом алмазное дело на Урале и вообще заглохло.

Возродились поиски алмазов на Урале, на этот раз научные, лишь при Советской власти, перед Великой Отечественной войной,

¹ Вашгерд — станок для промывки песков.

В 1938 году на Чусовую, Койву и Вижай направились поисковые группы геологов под руководством А. П. Бурова, а в 1940 году была создана Уральская алмазная экспедиция. Геологи шли по глухим таежным местам, за их поиском следила вся печать — страна остро нуждалась в этом минерале.

Несколько лет назад в южноафриканском горном журнале появилась любопытная статья: «Экономическое и стратегическое значение алмазов». Ее автор, журналист Л. Девис, основываясь на статистических данных, заявляет, что если бы высокоразвитые промышленные страны, не имеющие собственных месторождений алмазов (а таких стран абсолютное большинство, включая США), «отказались от импорта и ограничили у себя потребление алмазов, промышленный потенциал страны за очень короткий срок снизился бы наполовину».

Трудно сейчас найти отрасль промышленности, которая не нуждалась бы в этих сверхтвердых кристаллах: в горном деле алмазы применяют в коронках для проходки скальных пород; машиностроители, имеющие дело со специальными сталями, тоже не могут обойтись без алмазных резцов... Через алмазные фильеры протягивают тончайшие по диаметру нити проводов, которые потом используются в радиоэлектронике, в системах управления ракет и космических кораблей. Даже парашютную ткань невозможно изготовить без алмазов.

Наша страна, как и США, в первые годы пятилеток была крупнейшим импортером алмазов из Южной Африки: своих алмазов, которые время от времени все же попадались на вашгердах уральских золотых и платиновых приисков, имелось так мало, что каждый кристалл представлял собой уникальную минералогическую ценность. А цены на южноафриканские камни торговцами были подняты так высоко, что покупка алмазов превратилась в одну из самых разорительных импортных операций. К тому же в тридцатые

годы, в преддверии новой мировой войны, многие государства, в том числе Бельгия и Англия, основные концессионеры в Южной Африке, поняв важность «венценосного» камня для развития военно-стратегического потенциала страны, вообще отказались продавать алмазы Советскому Союзу. И в уральскую тайгу на поиски собственных алмазов ушли многочисленные отряды геологов.

Поиск велся в двух направлениях: часть групп обследовала бассейны рек, где старателям попадались отдельные кристаллы, а другая часть геологов искала коренные, подобные южноафриканским кимберлитовым трубкам, месторождения. Повезло первым: промышленные россыпи алмаза обнаружили в реках Чусовой и Койве, а в 1954 году были открыты и знаменитые вишеро-щугорские россыпи на Северном Урале. Именно там, на Вишере и Щугоре, драги подняли со дна рек первые уральские алмазы.

И все эти годы, начиная с первых разведок, не стихают споры о том, где же на Урале коренное месторождение алмазов. Ясно, что и Вишера, и Чусовая, и Койва, и Щугор где-то размывают те самые синие глинны, в которых, как это установлено сейчас точно, и образуются прозрачные кристаллы драгоценного камня в глубинах земли. Но где? Как обнаружить хотя бы след к древним, очевидно, разрушенным позднейшими горными процессами трубкам?

Учеными было предложено много вариантов облегчения поисков алмазов — какой это, однако, адский труд — искать крошечные, почти неразличимые среди осколков горного хрусталя кристаллики алмазов! Десятки тысяч проб песка пройдут через руки геолога, прежде чем попадется кристалл «венценосца».

В начале пятидесятых годов было предложено искать не сами алмазы, а их спутников — менее ценные камни, а значит, более часто встречающиеся в песках и породах. Выяснилось, что непременно спутником коренных алмазов

является пироп — кроваво-красный минерал из семейства гранатов. Пироп тоже редкая, к тому же драгоценная разновидность граната, но все же он встречается значительно чаще алмаза, да и заметить его в шлихах значительно легче. Так родился метод пироповой съемки.

Это метод привел к открытию в Якутии второго «Кимберли» — значительной алмазоносной площади, прошитой, как и знаменитое плоскогорье в Южной Африке, трубками с синей глиной. Первая такая трубка была найдена геологом Л. Попугаевой 21 августа 1954 года, и сразу пироповая съемка, так блистательно оправдавшая себя в Якутии, нашла применение и на Урале.

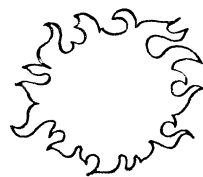
Но на Урале пиропы не встречались. Это было странно, никак не вязалось с представлениями геохимиков о происхождении алмазов, выдвигались даже новые теории об особых условиях образования уральского камня... Лишь в 1967 году обнаружили, наконец, уральские пиропы, и тотчас организованная геологическая партия занялась пироповой съемкой района. Однако кимберлитовые трубки не найдены до сих пор.

А между тем химики получили не только искусственные алмазы, но и новые минералы, по блеску и прочности не уступающие «царскому» камню. Сначала были «выпечены» всевозможные карбиды, которые сейчас широко используются в металлообработке, затем получили карбин — соперник алмаза по твердости, и наконец химики вырастили кристаллы старлиана и фабулита, которые своим блеском и игрой света затмили лучшие бриллианты.

И все же, несмотря на эти успехи химии, алмаз пока по-прежнему остается самым дорогим и самым важным для страны из всех драгоценных камней. Вот почему история уральского алмаза ждет своего продолжения и продолжателей.

Ю. ЯРОВОЙ

Рисунки З. Баженовой





ДОЖДИ

Рассказ

Валентин
ЗОРИН

Ватник и так был тесноват, а напивавшись влажной, совсем закоробел. Морщась, Димка застегнул его на верхнюю пуговицу и, приравливаясь, поводит плечами. Оказалось — терпеть вполне можно, даже вроде и теплее стало. Звон — добродушная и услужливая дворняга неопределенной масти — понимающе взглянул на Димку, зевнул, показав розовое ребристое небо, и усиленно заработал хвостом. От хвоста полетели брызги.

— Влипли мы с тобой, понятно? — сказал Димка, отступая под навес, засовывая руки поглубже в карманы и чувствуя, как вместе с дрожливой зябкостью подступает ощущение томительного уныния. — Как они теперь вернуться? Ни черта они теперь не смогут вернуться!

Может, Звонок что-то и понял — во всяком случае, он прижался к Димкиным сапогам, заляпанным глиной, и глухо зарычал на проплывавшее поблизости бревно. Бревно ударило в стойку палисадника, сбilo ее, потом развернулось и боком-боком ушло в серую мглу.

Дождь хлестал по раскисшей глине тропинок, по жухлой траве, по корявым деревьям, немногим в этой долинке, по решетчатому конусу буровой, по неуклюжей вышке с площадкой для водонапорного бака, по толевой крыше времянки, под навесом которой сейчас укрылись Димка и Звонок. И как-то словно размывались, смещались в дождевой пелене очертания лесистого берега за взбесившейся вдруг Убышкой, горы, как бы заходящие склонами одна за другую.

О возможном ливне и неизбежно связанном с ним разливе своенравной реки еще вчера кричал с противоположного берега инженер Самсонов, оскользясь на галечном сбросе и все отступая к желтому «Москвичу», странно и нелепо выглядевшему среди бурых и пятнистых зарослей. Остаткам каптажной партии здесь было уже нечего делать — пробная скважина дала минеральную воду какой-то особой концентрации, приблизительный дебит установили. Все предварительные работы были выпол-

нены, а скважина законсервирована. Ждали машин, чтобы вывезти остатки оборудования,— только на тракторе да на панелевозе можно было без риска перебраться по увалистым откосам русла, через несколько рукавов говорливой Убышки.

Слишком неудобным, заброшенным было это место в Турьей Щели, постоянно находящееся под угрозой разлива. Так и сказал об этом моторист Лопатин, пыхая едкой «Примой» прямо в угрюмый нос инженера Самсонова. Это было еще летом, когда все вокруг дышало зноем, запахами солярки, тавота и горячей пыли, когда гремел и захлебывался движок, орал мастер и ствол бура вращался, как сумасшедший, грызя где-то там внизу сырую и хрупкую породу. Самсонов тогда помахал ладонью, отгоняя едучий дым, покосился на подошедших поближе других парней. И, постукивая пальцами по вытащенному из кармана чертежу, с жаром заговорил о нуждах соседнего курорта, о каменной дамбе, которая отгородит долинку от реки, о трубопроводе, который протянется туда, поближе к поселку... Что ж, образованным людям виднее. Это тоже брякнул Лопатин, считающий свое занятие из временных временным. И Димке тоже незачем было особенно задумываться — весной ему предстояло идти в армию, и не все ли равно, где работать пока...

Дождь словно приослаб немного, но, видимо, только здесь, на горах,— Убышка разливалась все шире, и мутная вода, ходившая неглубокими воронками, давно переклестнула линию палисадничка, подступала уже к движку — зеленому вагончику, погрязшему литыми колесиками в глине.

— Вот шарахнет его бревном — и хана, — вздохнул Димка, глядя на щетинистые коряги, вырванные потоком неизвестно в каких горных дебрях и теперь несущиеся к морю.

«Запросто шарахнет!» — взглядом подтвердил Звоник и, поскуливая, визгливо залаял. Было ясно, что разливающаяся с такой неотвратимой последовательностью Убышка не остановится на том, что есть. Хоть бы дождь перестал, что ли...

Димка вышел из-под навеса, постоял немного, привыкая к холодным струйкам, бьющим в лицо, и зашагал к движку. Вода была уже по шиколотку, и сапоги сразу же промокли. И стало все равно — вымокнет он весь или нет. Звоник плюхался рядом, всем своим видом показывая, что ему, никогда не жившему в довольстве и роскоши, наплевать на всю эту непогоду. И что вдвоем все-таки лучше, чем одному.

В Брабанте бой, и в Генте бой,
И в Сент-Омере схватка.
Не время нянчиться с собой,
Хоть это и не сладко... —

бормотал Димка, возя руками по воде и по глине в поисках троса, который, как он помнил, лежал где-то здесь. Где эти Брабант и Гент? Что это за Сент-Омер? Димка нигде и никогда не слышал таких мудреных названий, но последние строчки брали за живое. Стихи смахивали на барабанный бой, их всегда бормотал Лопатин, когда возился со своим хозяйством. Там и дальше были какие-то слова, но Димка не смог их запомнить.

Мгновенная острая боль впилась в руку, и Димка невольно сунул палец в рот, сососал его, — трос, как миленький, лежал там, где его и видел Димка раньше, почти рядом с колесиками движка. Димка выпростал из воды, из каких-то налипших вялых стеблей гибкую стальную змею с торчащими во все стороны колючими щетинками. Звоник прыгал, взлаивал, словно тоже хотел чем-нибудь помочь.

— Да отстань! — бормотал Димка, привязывая трос к скобе рамы основания мотора, а потом волоча колючую змею к стоящей метрах в двадцати лебедке. Здесь, на покато с одной стороны взлобке, воды еще не было, хотя внизу она шла уже сплошным потоком.

Дождь заметно слабел, редела серая мгла, утихал слитный, заглушающий все шорох миллиардов струек. И все настойчивее рос далекий и грозный гул бушующей реки.

В Брабанте бой, и в Генте бой,
И в Сент-Омере схватка...

Эти стихи насмешливо декламировал вчера Лопатин, когда возвратился из города и привез зарплату, плотную пачку трехрублевков. Он бросил ее щеголеватым швырком на сколоченный из досок стол:

— Наваливайся на кровные, ребятишки!

— Без дури не можешь, — проворчал слесарь Тароватов, с нетерпением глядя, как вслед за деньгами появился разграфленный листок ведомости, обломок химического карандаша. — До седых волос дожил, а все кобенишься!

— Не бойсь, папаша! Твое никто не зажилит! — рябинки словно светились на скуластом и грубом лице Лопатина, он всей пятерней лохматил свои сивые кудри, стоял, пристукивая каблуком растоптанного кирзача.

А Димка, вытянув шею, почти не моргая, смотрел, как Тароватов шевелил пересмякшими губами и все примеривался, как лучше, ловчее расписаться в ведомости.

— Какой я тебе папаша, — лениво цедил он при этом, — не старей тебя, черта...

Лопатин подмигнул Димке — мол, видишь? И Димке стало неприятно, что этот весь какой-то развинченный человек снова оказался прав.

— Человек и деньги! Уловил мысль, пацан? — часто говорил он и поднимал многозначительно палец с обгрызленным ногтем. — Хочешь узнать человека, присмотрись, как он грошву получает. Картина!

Сам он получал деньги небрежно, никогда не пересчитывая, засовывая в карман заторханых хлопчатобумажных брюк. И расставался с ними, не жалея, а потом присматривался к закусывающимся работягам, стрелял курить, занимал по рублю «до получки». И удивлялся, когда ему отказывали, — такое случалось.

— Ты кто? — хрипел Тароватов и, поглаживая лысину, кивал, словно ставил точку. — Ты перекасти-поле, вот кто! В тебе арматуры нет, одна рыхлость.

— Жлобы! — куражился Лопатин и свистел какой-нибудь мотивчик, складывая губы трубочкой. — Земля, она круглая! Замечал, как суда обрастают ракушками, а? Вот оно! А ты... перекасти-поле! Знаешь пословицу «тюрьма крепкая, да черт ей рад», знаешь?

— Знаю. Только не равняй ты семью с...

— А по мне одно. Пока не привязан, я сам себе голова!

— А что, если чем одним всю жизнь живешь, это — привязан? — спросил Димка, и Тароватов хмыкнул удовлетворенно, а Лопатин поперхнулся табачным дымом, округлил зеленые с блестинкой глаза.

— Тебе, пацан, не понятя! Ты что видел? То-то. И вряд ли увидишь! Твое дело телачье — расти, потом стареть будешь. Веселое существование!

— Откуда ты знаешь? — возмутился Димка. Лопатин осклабился.

— Да уж знаю, пацан!

Лопатину было хорошо, он за свои сорок пять где только не побывал, чего только не видел.

Никто толком и не знал, откуда он родом, знали лишь, что до каптажной партии работал на перегоне скота в Дагестане, а до того плавал матросом на гидрографическом судне...

Остальные ребята были обычными людьми, местными, имели в городе или в поселках семьи. Самая заурядная семья была и у Димки. А что может быть особенного, если тебе всего семнадцать с половиной, а за душой всего восемь классов да год работы в совхозной мастерской, где сбивали рамы для парников. Потом их наводрились заменять полиэтиленовой пленкой... Мать вкалывала в путевой бригаде, маячила на участке оранжевой курткой-безрукавкой, стучала молотком на длинной рукоятке. А отца Димка не знал, только однажды случайно нашел в материной шкатулке, обклеенной ракушками, фотографию какого-то дядьки с изогнутыми бровями и остреньким подбородком, под которым торчал большой узел галстука. Спросить постеснялся — как-то с малых лет получилось, что про отца разговоров не ввели: нет его, и все.

...Впрочем, особых споров в дощатой времянке не случалось. Лопатина не любили, но все-таки уважали — дело он знал и на других не сваливал. Кроме того, в их обыденной жизни, обыденных разговорах он был чем-то вроде перца в пресной похлебке. Вот и сегодня с утра увел Лопатин Тароватова в магазинчик сельпо, за речку, километров за пять, — с утренним трактором, увезшим бочки из-под солярки, они и перебрались через слабый еще поток.

В Брабанте бой, и в Генте бой,
И в Сент-Омере схватка...

Димка, задыхаясь, весь мокрый, — не то от дождя, не то от пота, — крутил и крутил рукоятку лебедки. Трещала защелка обратного хода, и вагончик движка медленно выползал на взлобок. Потом Димка его так и оставил на натянутом тросе, соединенном с массивной лебедкой, — все-таки понадежнее.

Звонку давно надоела эта возня под дождем, а может, он просто обиделся на невнимание, — лежал пес теперь под навесом, отыскав на ящиках сравнительно сухое место. Димка оглянулся на то, что только что сделал, и похлюпал к времянке. Вода растекалась все шире. Было ясно, что на возвращение Лопатина и Тароватова даже и надеяться больше не стоит.

Димка добрел до навеса, снял и выжал кепку, пригладил мокрые волосы, Звонку стоял на ящиках, вздрагивал и с тревогой засматривал в глаза.

— Боишься? — спросил Димка и неожиданно для себя добавил, понизив голос: — Я сам боюсь...

В Брабанте бой, и в Генте бой,
И в Сент-Омере...

Привяжется какая-нибудь чушь, не отвязаться!.. В тесном помещении вода стояла на том же уровне, что и снаружи. Какая-то коряга царапалась в заднюю стену, и доски вздрагивали. Димка открыл тумбочку, нащупал журнал работ, плоскую коробку с микрометром — не раз говорили, что это ценная



вещь. Под руку попались спички, Димка и их сунул за пазуху, где было тепло и сухо. И сразу же предстал, как Лопатин и Тароватов сидят себе в тепле у магазинчика — поллитровка уже опорожнена, настроение хорошее и незачем тащиться куда-то. Еще и над ним посмеиваются, над Димкой...

Димка вытер глаза — ничего, когда-нибудь и у него в жизни все будет иначе, интереснее. Не только Лопатину жизнь с далекими краями.

— Пошли, Звон! — сказал Димка псу и вышел под навес. Собака с готовностью прыгнула в воду, дохнувшему ей до брюха, и пошла, как поплыла, задирая голову. Дождь теперь только моросил — надоедливый, нудный. Но вода добралась уже до взлобка, на котором стоял двигатель. И Димка поразился, что догадался оставить трос на лебедке, — водой-то мотор, конечно, не смоет, а вот если бревно принесет... Не было уже долины, еще три-четыре часа назад похожей на микропоселок, ничего не было. Только и торчала времянка с толевой, как лакированной сейчас, крышей, да держалась вышка для водонапорной цистерны. К ней и шагал Димка.

В такую погоду на путях не работают, и мать, наверное, сейчас дома. Может, стирает что или лает. Сейчас он принес бы ей деньги, и она обрадовалась бы.

— А себе, Дим, оставил? — спросила бы она. — Твое дело молодое...

Она всегда называла его Димом, всегда, сколько он помнил себя. Это потому, что был у нее старший брат, погибший под Сталинградом. Друзья звали его Димом. Он, окруженный на корректировочном пункте, вызвал огонь на себя. Подробностей мать не знала, да и кто их мог знать — подробно-сти-то?

В Брабанте бой, и в Генте бой...

Димка взял собаку на руки, и она, словно понимая, обхватила его плечи лапами.

— Правильно, — кивнул Димка и полез по лестнице наверх, на вышку, считая перекладины. На площадке оглянулся, посмотрел вниз. Времянка заметно покосилась, и вода вокруг нее пузырилась, ходила. Наползала какая-то хмарь — белесая, как туман. Где-то неподалеку вроде гудел мотор. Димка прислушался. Собака жалась к ногам и тоже смот-

рела в небо. Гул усилился, дошел до высокой ноты — вдоль Турьей Щели плыл вертолет на выход из ущелья, к селеньям, к морю. Димка заорал что-то, принялся махать руками. Оглушительно, требовательно залаял Звоник. Но вертолет крутил себе винтом, и вот уже его головастая тень стала удаляться, затих гул.

— Местов нет, все билеты проданы, — сказал Димка, переводя дыхание и поглаживая дрожащего пса. — Сам понимаешь, бывает и хуже.

В Брабанте бой...

А интересно, каким был его тезка Дим, его родной дядька, которого он ни разу не видел? Таким, как Лопатин, — веселым и бесшабашным? Или как Тароватов, всегда сосредоточенным и скуповатым на слова, хозяйственным? Или как он сам, Димка? А какой он, этот сам Димка? Да никакой... Надо будет у матери порасспросить — все, что она помнит, знает...

И снова послышался гул мотора, вертолет явно кружил где-то поблизости. Завилял хвостом Звоник.

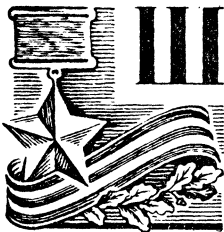
В Брабанте, в Брабанте...

А-а, к черту!.. Димка сорвал с себя ватник, бросил его на мокрые доски площадки, вытащил из-под рубахи спички. Внутренняя сторона ватника была почти сухой, но ткань никак не хотела загораться, тлела. Прикрываемые ладонями спички догорали крохотными кострами, сворачивались горсткой черных обугленных стебельков. Вот их осталось всего несколько.

Димка покрутил головой, разыскивая растопку, но ее не было... Вспомнив, выхватил из-под рубашки деньги. Сложил ватник чем-то вроде трубы, сунул внутрь несколько трехрублевок, чиркнул последними спичками. И ватник наконец зашаял, зацарил — бурый вонючий дым пополз струей и потянулся вверх, прибываемый мелким дождем. Димка торопливо сунул в огонь, еще очень в сущности слабый, остальные деньги и выпрямился. Собака стояла рядом, вся напряженная, словно перед прыжком.

Было холодно и как-то пусто. В ушах у Димки звенело. А потом, секунду спустя, он понял, что это просто шум приближающегося мотора. Вертолет снова шел над Турьей Щелью, заметно снижаясь.

Рисунки В. Сыскова



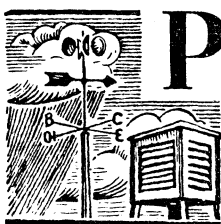
Шесть Героев Советского Союза дала Родине Менделеевская средняя школа № 1 Елабужского района Татарии. Об их боевом пути рассказывают материалы музея, собранные следопытами. Один из выпускников школы Михаил Фомин в 1943 году погиб под Курском. Под огнем противника форсировал Днепр девятнадцатилетний Вилен Бурмистров. Двадцать семь самолетов сбил отважный летчик Пискунов...

25 сентября каждого года ребята отмечают день рождения Героя Советского Союза Михаила Сергеевича Фомина, чье имя носит пионерская дружина. На этот праздник приезжают в школу четверо героев, с победой вернувшиеся домой.



Есть в Дагестане, в поселке Огни, школа-интернат для девочек-горянок. Многие из ее воспитанниц по-настоящему увлечены геологией.

В Дагестанское геологическое управление юные исследователи земных недр сдали 38 заявок. Среди них рудопроявление на пирит в районе самого высокогорного селения в Европе — села Куруш, полиметаллическое рудопроявление в Ахтынском районе и уголь — в Хивском.



Разнообразны увлечения следопытов школы поселка на острове Ольхон Иркутской области. Одни ребята занимаются археологией. В походах они открыли пятнадцать стоянок древнего человека. А другие ведут постоянное наблюдение за ветрами. Каждый день, в семь часов утра и в два часа дня, дежурные выходят к Байкалу. Они записывают направление ветра, его силу, а потом все сведения передают в местную метеослужбу.

Большой школьный музей рассказывает о богатой природе родного края.



Боевому искусству Заполярья посвятили свой поиск следопыты города Полярный Мурманской области. Ребятам прислал свои книги Николай Букин — воин, моряк, поэт, автор песни «Прощайте, скалистые горы». Школьники узнали, что с именами известных композиторов, поэтов связана история ансамбля и театра Краснознаменного Северного флота

А кто читал «Два капитана» В. Каверина, помнит, наверно, что вражеские транспорты Саня Григорьев топил с подводником Ф. Это был знаменитый командир подводной лодки «Малютка» Герой Советского Союза И. И. Фисанович. Писал об этом герое и Лев Кассиль в рассказе «Федя из Подплава». Моряк И. И. Фисанович погиб, а его маленького друга Федьку сейчас разыскивают следопыты из Полярного.



Совсем не исследованным был район реки Зеле в Башкирии. Изучить его решили следопыты школы № 10 Стерлитамака. Они совершили поход по реке, отыскали несколько неизвестных пещер, описали их и нанесли на свою карту. Сфотографировали ребята останцы — выветрившиеся остатки скал самых причудливых форм.

Все собранные материалы легли в основу книги-путеводителя по реке Зеле, над которой сейчас следопыты работают.



Время ОБВИНЕНИЯ

Приключенческая повесть

Станислав ГАГАРИН

Рисунки Е. Стерлиговой

ДВЕ ВСТРЕЧИ

После неудавшегося покушения на него Леденев понял, что раскрыта истинная цель его пребывания на «Уральских горах». Он не стал ломать голову над тем, как это произошло. Вызвать огонь на себя — это входило в его планы. Но принять дополнительные меры предосторожности не мешало. Во второй раз легким испугом не отделаешься.

Готовясь лечь спать, Юрий Алексеевич тщательно проверил надежность запора, взял с постели подушку и устроился на диване, не раздеваясь.

Окончание. Начало см. в № 4.

Ночью ему снился кошмарный сон.

Некто преследовал Леденева, постоянно меняя обличье, Юрий Алексеевич осознавал, попадая в очередную ловушку, что это только сон, который рано или поздно закончится, но облегчение не приходило. Он просыпался, оставаясь в полудремоте, и снова погружался в забытие...

С началом нового дня косяком пошли служебные хлопоты. Юрий Алексеевич, встречаясь, как директор ресторана, со многими людьми, приглядывался к каждому и думал: «А не ты ли вчера пытался раскрыть мне голову?»

Злополучную кирку он спрятал у себя в каюте: могла пригодиться как вещественное доказательство.



СОЛДАТСКАЯ СЕМЬЯ



В гостях у Никанора Федоровича Сидорова

С Никанором Федоровичем Сидоровым, великим тружеником земли, я встречался три года назад в деревне Малая Сюга Можгинского района Удмуртии. Не счесть, сколько он вспахал-взборонил земли, сколько собрал-вырастил хлеба за свою долгую жизнь, скольких накормил этим хлебом. Поднял-поставил на ноги Никанор восемь сыновей и дочь. И жить бы ему остаток своих дней в радостном сознании исполненного долга, если б не война...

Свой возраст дед Никанор, когда мы разговаривали, определял по-разному:

— Мне, дитяtko, восемьдесят первый годок.

Или:

— Да верно — семьдесят восемь.

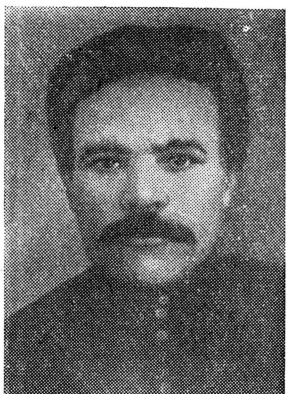
Родился же он 25 июля 1886 года. В деревне его уважают и чтут. Любит старик бывать на людях, не забывают пригласить его на собрание, на торжество. Тогда Никанор Федорович надевает новый лавсановый костюм, подаренный колхозным правлением, и прикрепляет на грудь медаль «50 лет Вооруженных Сил СССР».

... Дед Никанор всегда рад гостям, вспоминает давнее:

— Только девятнадцатый годок наступил и женили... Свадьба большая была... Три пары лошадей, да две тройки... Поработал на своем веку — известно, крестьянское дело... Родитель мой все говорил: «Никанор, ты, наверное, больно устаешь?» Эх-хе, батя, какой устаток? Ведь я молодой еще, а ты давно старик...»



Петр



Павел



Федор



Арсентий

Помнит дед Никанор старинные песни.

— Распрокляты комарочки... не дают мне ночью спать...— выводит его негромкий тенорок. Вместе с дочерью Кристиной у них получается совсем хорошо.

— Ох, да не дают мне комарочки ночку спать...

Старик крикает и утирает слезу:

— Голос у меня был хороший... А теперь уж старик стал, памяти нет...

Глубоко вздыхает Никанор, уходит в себя. Гости понимают, что у него на душе, за столом наступает неловкое затишье, а взгляды обращаются к портретам, развешанным по стенам горницы. Их восемь. Из строгих деревянных рам, украшенных вышитыми полотенцами, смотрят сыновья старика. Война не оставила Никанору ни одного...

Придвигается старик ко мне:

— Послушай-ка, золотко, что я тебе скажу: не было у меня плохих сыновей, не было... Только двери откроют и уж: «Тятя, а тятя! Чо делать-то?» «А найдем чо делать, работа будет». Все в колхозе робили. В контору приду, за всех деньги получу. «Надо, робяты, денег-то?» «Зачем?» Не берут денег. Младшенькой, Ленька-наскребыш, Лёничкой его звали... Ой, развеселой был, песельник... Арсентий... Бывало бороться зачнет, всех переборет. Яков... Яшенька... гармонист. Лександра... Работающие были все, никто-то никогда на них не пообиделся, не пожалился... Не было у меня плохих сыновей, не было...

Яков погиб в возрасте двадцати трех лет, Александр — двадцати, Леонид — восемнадцати. У Петра, Павла, Федора, Арсентия и Василия остались дети. У деда Никанора более двадцати правнуков.

Старшая дочь Федора — Валентина, ученый-агроном в Благовещенске, пишет: «Помню, когда провожали отца на фронт. В доме было много народа и все плакали... Отец взял на руки меня и младшего брата и нес далеко, за деревню...»

«Об отце мы знаем, что он был в боях под Ленинградом, имел несколько ранений, в сорок четвертом году приходил на пять дней на побывку. После окончания войны его демобилизовали, после того он проработал несколько лет председателем колхоза имени Буденного, перенес еще две операции, но так и умер от ран... Через пять месяцев после него умерла наша мать, всех нас забрали в детдом...», — сообщила мне в письме старшая дочь Павла Никаноровича Сидорова Тамара из Воркуты.

Сын Арсентия Анатолий Сидоров — коммунист, рабочий Князегубского деревообрабатывающего завода Мурманской области. Он вспоминает:

— Отца помню хорошо. Был он весельчак и гармонист, заядлый охотник. Осенью, после уборочных работ, он обычно заключал договор с «Союзпушминой» и до конца зимы охотничал. Счастливчик он был в этом деле, никогда не воз-

вращался домой без добычи. Много у него было друзей-охотников. Приезжали они из Можги. Придут, бывало, с охоты, у отца три-четыре зайца, а товарищи ни с чем. Тут уж разговору и шуток: кому и почему не повезло. С отцом мы очень дружили. Знал он множество разных историй и любил их рассказывать. Бывало, брал и меня с собой на охоту и даже мать.

24 июня сорок первого года отец ушел в армию. Как сейчас помню, рано утром приехал нарочный из сельсовета с повесткой. Отец даже попрощаться не успел со всеми родными... С дороги от него было четыре письма. «Шура, береги сына,— писал он маме,—я обязательно вернусь». Последнее письмо послал 5 июля.

Под окнами большого и некогда шумного дома старика Сидорова весной распускается сирень. В ее цветку прячется доска, прикрепленная к стене: «Здесь живет Почетный колхозник Никанор Федорович Сидоров, потерявший в Великую Отечественную войну всех своих восьмерых сыновей».

А в вестибюле новой кирпичной школы в деревне Малая Сюга находится стенд. Под стеклом фотографии и надписи:

Петр Никанорович Сидоров (1906—1941), рядовой, пропал без вести;

Павел Никанорович Сидоров (1907—1956), рядовой, защищал Ленинград, умер от ран;

Федор Никанорович Сидоров (1909—1941), рядовой, пропал без вести;

Арсентий Никанорович Сидоров (1911—1941), рядовой, пропал без вести;

Яков Никанорович Сидоров (1918—1942), ст. сержант, проявил героизм и мужество, убит под Сталинградом;

Александр Никанорович Сидоров (1921—1941), рядовой, геройски погиб при защите Бреста;

Василий Никанорович Сидоров (1923—1943), мл. сержант, геройски погиб в боях на Орловско-Курской дуге;

Леонид Никанорович Сидоров (1925—1943), пропал без вести.

Летом приезжают навестить старика внуки и правнуки, тогда снова шумно становится в доме Никанора Федоровича Сидорова. И словно теплеют лица павших героев, смотрящие из строгих деревянных рам на продолжение своего неистребимого рода...

В. БОБЫЛЕВ



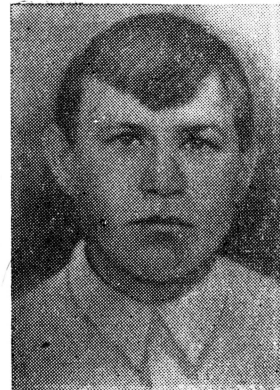
Яков



Александр



Василий



Леонид

ЕКАТЕРИН- БУРГСКИЕ ПОДЗЕМЕЛЬЯ

Дыра в земле

С подземельями старого Екатеринбурга я столкнулся случайно, узнав в мимолетном разговоре от знакомого топографа о том, что они во время работы на одной строительной площадке обнаружили «дыру в земле» — небольшой провал, ведущий куда-то вглубь. Сработала профессиональная реакция репортера: вдруг да что-нибудь интересное?!

Но в таком случае не нужно зевать, пока тебя не опередили коллеги. И я тут же организовал «экспедицию», пригласив участвовать в ней упомянутого выше техника-топографа Анатолия Епанчинцева, его коллегу Валентина Брагина и фотографа Вадима Долганина. Сев в машину, мы через несколько минут были на месте — у пустыря на углу улиц Мамина-Сибиряка и Азина.

В углу площадки зияла «дыра в земле». Из нее тянуло сыростью и плесенью.

Первым на правах «первооткрывателя» вниз полез Анатолий Епанчинцев с бумажным «факе-

лом» в руках. За ним спустились остальные.

Неяркое желтое пламя осветило большое сводчатое помещение, выложенное из гранитных глыб. Камни когда-то укладывались добротно, на совесть. От потолка до поверхности земли меньше метра, но старинная кладка добросовестно выдержала вес бульдозера и обрушилась только там, где, наверное, была чем-то повреждена. Длина подземелья оказалась равной 23 метрам, а высота около трех при ширине в четыре метра.

Мы сожгли еще несколько самодельных бумажных «факелов» и обнаружили в торцовой стене, противоположной обвалившейся, дверной проем. Он был тоже засыпан, но располагался возле потолка, гораздо выше, чем положено быть простой двери.

Наверху Валентин Брагин позвал нас в соседний двор и постучал ногой о землю: земля глухо гудела, как бы сообщая еще об одной пустоте...

Вернувшись в редакцию, я разложил на столе блокнот и чистую бумагу, взял ручку и... задумался. А о чем, собственно, писать?

Нет, пожалуй, свердловчанина, который бы не слышал легенд о Харитоновском доме — нынеш-

нем Дворце пионеров. Чего только не рассказывают о нем — о его таинственных подземельях, о ходах, ведущих чуть ли не под городской пруд. Но собрать все это сейчас и обобщить не было времени. У меня оставался единственный и, пожалуй, самый верный путь — просто рассказать о находке, о том, что мы увидели в подземелье, и лишь косвенно коснуться легенд. Подвал — подвалом, городские мифы — самс собой. Кто знает, что такое мы видели. Да и Харитоновский дом от нашего подземелья далеко-далеко.

Обойдя в репортаже вопрос о том, принадлежит ли найденное подземелье к легендарным ходам, я все же не удержался и в заголовке написал: «Тайна Харитоновского дома?», поставив в конце вопросительный знак.

Дворец на Вознесенской горке

В самые последние годы XVIII века богатый вольский купец Лев Иванович Расторгуев, владе-

ший на Урале огромным округом Кыштымско-Каслинских заводов, задумал строить себе дом в Екатеринбурге.

Место было выбрано исключительно удачное. Неподалеку от крепостного вала высилась Вознесенская горка. С нее как на ладони виднелся городской пруд, плотина и завод за ней, дом главного начальника горных заводов хребта Уральского. Выше этого места была лишь Плешивая горка, но тогда она еще не входила в городскую черту.

Правда, место оказалось занятым. Какая-то вдова чиновника Исаева строила себе там домишко. Все было немедленно перекуплено, включая и стройматериалы — заводчик не жалел денег. Новый дом (историки относят начало его строительства к 1796—1798 годам) с самой закладки фундамента стал возбуждать всеобщее любопытство. Еще никто на Урале не строил дома с таким размахом.

Чего стоит один парадный въезд с воротами из металла. А боковая часть здания с верхним светом! Одним богатым фасадом дом был обращен к пруду, точнее — ко всему городу, а другим — в сторону церкви.

Внутри дом был еще роскошнее, чем снаружи. Лепка и альфрейная роспись потолков, обтянутые бархатом стены, хрусталь и роскошный паркет...

Под стать дому выглядел и сад. В сохранившейся и сейчас планировке его чувствуется опытная рука. На склонах горки били роднички — их расчистили и в саду появилось озерко с островом, на котором поставили беседку. На берегу построили купальню, часть дна замостили.

Строительство дома шло по частям и очень долго. Прошло около тридцати лет, прежде чем дом приобрел свой неповторимый облик и стал достопримечательностью города, о которой многочисленные путешественники, посещавшие Екатеринбург, отзывались с восхищением.

В этом-то доме и поселился Лев Иванович Расторгуев со своими дочерьми. Старшая, Мария, вскоре вышла замуж за купца и золотопромышленника Петра Яковлевича Харитонов, младшая — Екатерина — за Александра Григорьевича Зотова, сына знаменитого в летописях Урала Григория Федотовича Зотова.

Молодые Харитоновы посели-

лись в доме Расторгуева, а молодые Зотovy — в доме напротив, принадлежавшем Григорию Зотову. Породнившиеся семьи повели общее дело. А когда умер Расторгуев (в 1823 году), энергичный и предприимчивый Зотов, заведя поистине каторжные порядки на кыштымских заводах, добился того, что они стали приносить огромные прибыли.

Злодейства Г. Зотова оставили в истории уральских заводов неизгладимый след. Даже в то время его зверства выглядели редкостью. О делах Зотова заговорили в верхах. Нет, там не жалели рабочих, просто еще была свежа память о пугачевщине, а ведь кыштымцы пошли в его ряды со своим оружием. На заводы посыпались ревизии, но они «не могли ничего найти». Лишь приехавший на Урал по приказанию министра финансов граф Александр Строганов быстро сумел узнать многое. Нашел свидетелей, в спущенном пруду отыскивали останки людей, выяснилось, что на золотых Соимоновских приисках даже «заведено кладбище для скоростижно умерших».

Граф написал обвинительный акт, который предоставил министру финансов Е. Ф. Канкрину.

От этого удара Зотов не мог оправиться. Его и П. Харитонova судили. По закону их следовало бить кнутом и сослать на каторгу, но они отделались лишь ссылкой в Кексгольм. Лет через десять оба там и умерли.

Заводы остались за дочерьми. Дом долгое время стоял почти полностью брошенным. По имени последнего владельца его стали звать Харитоновским.

Ход или не ход

Как бывает после появления в газете интересных материалов, на следующий день в редакции стали звонить телефоны. Незнакомые люди спрашивали, как найти это подземелье, осведомлялись, не нужны ли помощники для раскопок, и, наконец, просто просили написать побольше об уральской старине.

Начали приходить и письма.



Одно из первых, как ни странно, было прислано из Малых Брусян, Белоярского района.

«Сейчас не помню, кто водил нас в этот подземный ход, — сообщила Ольга Александровна Оглобина, — но скажу, что в нем замурованы в стены около 25 человек. Имеет этот ход 6 ответвлений. В два мы ходили...»

Прямо с этим письмом я отправился к Павлу Игнатьевичу Истомину, тогдашнему директору Дворца пионеров, что разместился в бывшем Харитоновском доме.

— Пожалуйста, хоть сейчас покажем, — улыбнулся он, и мы отправились в подземелья.

Я не случайно употребил слово «подземелья» во множественном числе. Дело в том, что во Дворце пионеров есть несколько уголков, требующих тщательного обследования. Один из них находится прямо возле кабинета директора. Под лестницей, ведущей на второй этаж, есть спуск в подвальное помещение. Раньше оно было все выложено металлическими плитами. И вот в углу, где находится фундамент когда-то стоявшего станка, есть круглое отверстие, ведущее куда-то вниз. Оно все, за исключением маленького люка, забито досками.

Мы подняли этот люк, под ним был всяческий мусор. Но что это за отверстие, по ширине чуть большее чем стандартный люк смотрового водопроводного колодца, куда оно ведет — никто не знал.

Еще одно интересное подземелье находится прямо под главной частью корпуса. Судя по всему, оно сооружалось в одно и то же время, что и здание. Подземелье это проходит под соединительной частью здания и направляется в сторону бывшего флигеля (с бельведером). Кажется, это наиболее перспективное для дальнейшей исследования место. Не его ли описание сохранилось в рассказе А. Н. Толстого «Харитоновское золото?».

Есть во Дворце и несколько

подземных кладовых. Входы в них ведут из внутреннего двора. Все эти кладовые очень тщательно выложены, снабжены тяжелыми дверьми. Здесь, судя по всему, хранились продукты.

В общем, подземное хозяйство Харитоновского дома оказалось весьма обширным. Чтобы его полностью обследовать, потребуется не один день — надо не только осмотреть, но простучать стены, снять в ряде мест штукатурку, чтобы обнажить кладку, и т. д.

— Ну, а кроме этих есть еще какие-нибудь подземелья? — осторожно осведомился я.

— Слухов много разных бродит, — ответил директор. — Но все это только слухи. Кто знает, что в них правда, а что нет.

Местный краевед В. Федоров вспомнил легенду о подземных ходах, якобы идущих из дома Расторгуева — Харитонова. Согласно легенде, из этого здания имеются следующие подземные ходы: на юго-запад — на территорию бывшего Монетного двора, на юг — к бывшей Вознесенской церкви (ныне краеведческий музей), на восток — к беседке на острове искусственного озера и в тот же дворцовый сад к одной из горок... Федоров выдвигал следующую гипотезу живучести легенды: все дело, мол, в Вознесенской горке. Свердловск весь стоит на золоте, а горка эта и подавно. Несколько десятков лет работали на ней старатели, вырыли немало ям и шурфов. Вот, дескать, эти старательские следы и были приняты за остатки подземных ходов.

Версия неплохая, но, увы, не новая и не очень убедительная.

Да, рыли землю, да, искали золото. Но разве опытные екатеринбуржцы могли спутать закопушку или даже шурф с подземным ходом? Уж где-где, а на Урале понимали толк в горных работах и вряд ли допустили бы такую ошибку. Тем более — зачем золотоискателям такие роскошно оборудованные подземелья?

Сам же В. Федоров сделал интересный подсчет. Он поднял литературу и установил, что о подземельях ничего не говорится в описаниях Урала А. Гумбольдта и Розе (1829 год), Аткинсона (1847 год), академика Безобразова (1867 год) и других путешественников, бывавших ранее в наших краях. Особо подчеркивал краевед тот факт, что не упоминает о подземельях падкий на сенсации журналист В. И. Немирович-Данченко, побывавший в Екатеринбурге в 1876 году.

Эти заметки интересны тем, что впервые увязывают дату рождения легенды с историческими документами. Основываясь на этом, В. Федоров и указывал: «едва ли не первыми написали об этом Д. Н. Мамин-Сибиряк и А. Н. Толстой». И делал вывод, что легенда «едва ли насчитывает сотню лет...»

В одно из посещений подземелья я встретился с кандидатом исторических наук, доцентом Уральского госуниверситета Анатолием Григорьевичем Козловым, большим знатоком екатеринбургской старины.

— Это, конечно, не подземный ход, — сказал он. — Это чей-то подземный склад. Известно, что здесь была усадьба купцов, торговавших вином и пивом. У них могли быть такие огромные подвалы.

Прошло еще несколько дней. Как-то я подошел к площадке и не узнал ее. Экскаватор разрыл крышу подземелья, в отвале валялись гранитные плиты. Рядом красовалась груда бетонных блоков для фундамента. Строители спешили...

Где истоки легенд

Большинство легенд почему-то связывается с Харитоновским домом. Даже те ходы, признаки которых находятся вдалеке от этого дворца, тоже неизменно причисляются к нему.

Почему бы это?

Если по истории дома и существуют какие-то документы, то о подземных ходах — ничего нет. Это и понятно — какие же это тайные ходы, если о них будут документы?! Такие сооружения, как правило, строятся не для широкого обозрения, их не вносят в инвентарную ведомость и вообще стараются, чтобы о них как можно меньше знали.

И все же легенда живет. Известно, что в 1915 году в Екатеринбург приезжали представители фирмы Ханжонкова для съемки фильма «Приваловские миллионы». Съемки они вели, конечно, в Харитоновском доме и якобы сняли какое-то подземелье. Я заинтересовался, не сохранилась ли

эта лента. Нет, ничего не осталось.

Заметим, что легенда родилась не в каком-нибудь захолустье, а в большом промышленно-купеческом городе. Значит, было что-то такое, что оставило свой след в умах горожан.

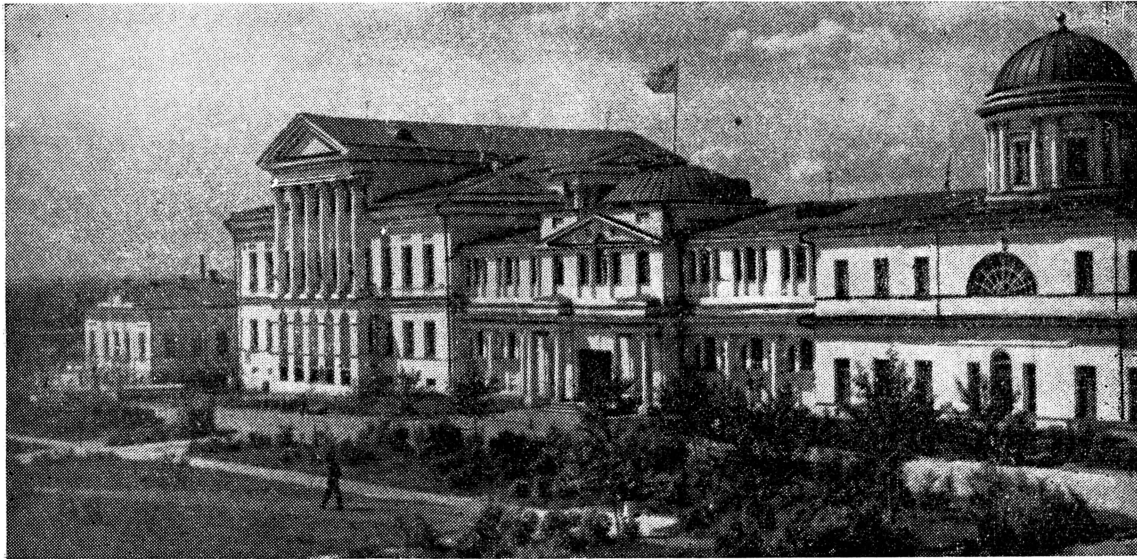
Здесь, думается, стоит поискать причину в том, что Расторгуев был старообрядцем.

Отвлекаясь в сторону от основной темы, хочется заметить, что старообрядцам принадлежала важная роль в освоении Урала. Это не случайно. Раскол в русской церкви, возникший на почве исправления и, как сказали бы мы теперь, «модернизации» церковных книг и правил богослужения, привел к переселению из центральной России массы людей, недовольных нововведениями.

К моменту раскола на Урале уже было много сел и деревень. Их жители не очень-то тепло приветствовали новшества в церкви, хотя официальные власти и требовали послушания. Если в центральной России это было легче сделать, там раскол подавлялся силой и приводил к трагедиям (вспомните описание самосожжения в романе А. Толстого «Петр I»), то здесь такими мерами действовать опасались. И к очень большому проценту местных жителей, отказавшихся следовать за предписаниями церковных властей, ежегодно добавлялись новые.

Именно в первую половину XVIII века и зародилась слава Урала, как «обители древлего благочестия». Появились сотни скитов, благо глухомани было предостаточно. Многие села, такие, как Шарташ, вплоть до Октябрьской революции являлись своеобразными центрами раскольничества.

Все дальше и дальше в глубь тайги уходили раскольники. Приходя первыми на новые места, они вели розыски руд, добывали цветные камни. Ерофей Марков, открывший первое на Урале и в России золото, был раскольником. Старообрядцами была большая половина подлинных хозяев Урала, таких как Рязановы, Казанцевы, Тарасовы. Старообрядцем был и Расторгуев. И хотя сам заводчик вел вполне светский образ жизни, давал балы, у него, это отмечают многие, все же существовала раскольничья молельня, и, без сомнения, находили приют и беглые, и подпольные священники-начетчики.



Дворец пионеров (бывший Харитоновский дом). Фото В. Носкова (1940 г.).

Не для них ли были проложены эти легендарные подземные ходы? Из истории мы знаем, что раскольники очень часто пользовались такими тайными путями, чтобы не только попасть в скит, но и в случае опасности уйти из него. Это предположение заставляет задуматься... Но белокаменный дом ревниво хранит свои тайны.

Красочные описания Харитоновского дома оставил нам в своих произведениях Д. Н. Мамин-Сибиряк. Особенно обстоятельно описан им этот дом в романе «Приваловские миллионы».

Здесь же он рассказал и об образе жизни обитателей дома: «С утра до ночи в приваловских палатах стоял пир горой, и в этом разливанном море угощались званный и незванный. И в то же время в том же самом доме в тайных молельнях совершалась постоянная раскольничья служба» (выделено мной. — Э. Я.)

Проходит четыре года после появления романа, и в журнале «Дело» появляется новый рассказ писателя — «Фомич», где автор снова возвращается к картине жизни обитателей Харитоновского дома: «Громадный тулумбасовский дворец являлся для всех настоящим адом: тут шел вечный пир горой, тут же молились по тайным мо-

лельням раскольничьи старцы, тут же наказывались плетью и кошками и тут же продельвались всевозможнейшие безобразия над крепостными красавицами».

В 1888 году Дмитрий Наркисович написал исторический очерк о городе Екатеринбурге. И здесь он упоминает о Харитоновском доме.

Но упоминания о подземных ходах нет ни в одном из этих его произведений. Уж что-что, а это, казалось бы, должно было найти отражение при описаниях знаменитого дворца.

Трудно поверить, что молодой, но уже довольно опытный писатель мог пройти мимо такой занимательной легенды. Ведь версию о существовании подземного хода можно было бы великолепно использовать в романе, обыграть эту тайну.

Правда, позднее, в рассказе «Верный раб», написанном уже в Петербурге в 1891 году, мы встречаем упоминание о тайных ходах в доме заводчика Злобина: «Злобин не жалел денег, когда строил свой дворец. В нем было все — и флигеля, и оранжереи, и громадный сад, и большая раскольничья молельня, и потаенные каморки с потаенными в них ходами».

Можно сделать вывод, что где-то около 1890 года Дмитрий

Наркисович узнал о существовании ходов. Ведь с этого времени и в других материалах появляются сведения о подземельях.

В 1905 году наш город посетил А. Н. Толстой. В его творчестве от пребывания в Екатеринбурге остался заметный след — рассказ «Харитоновское золото». Не раз и не два, наверное, слышал будущий автор «Петра I» эту легенду, если именно на ней построил свое повествование. Правда, в рассказе слиты две легенды — не только о подземельях, но и о чеканке монет в них, но автор даже названием прямо указывает на Харитоновский дом.

Говорят очевидцы

Если судить по письмам, пришедшим в нашу редакцию после публикации о подземелье, то многие свердловчане верят в существование в городе подземных ходов. И считают своим долгом сообщить все, что они слышали когда-то о них.

Многие читатели предлагали свою помощь. «В свободное от работы время занимаюсь архитек-

турной стариной Свердловска и его историей. Хочу в этом интересном деле (в раскопках подземелья) также принять участие», — закончил свое письмо научный сотрудник института геофизики В. Солуха.

Стало выясняться, что подземные ходы находили во многих местах. Как-то пришло письмо И. В. Потаскуева, работавшего в годы войны начальником строительного участка «Горремстройтреста». В то время проводился капитальный ремонт государственного музея Я. М. Свердлова и прилегающего к нему двухэтажного дома, где в квартире на первом этаже жил и директор музея.

«Так вот, — сообщает И. В. Потаскуев, — здесь плотники настлали пол в прихожей так, что оставили поверх торчать камень из подполья. Придя на объект, я заставил этот камень выворотить, а пол настелить снова. Когда плотники начали выламывать торчащий камень, выяснилось, что он составляет часть сводчатого перекрытия. Во время одного из ударов ломик вырвался и загремел далеко в какой-то пустоте. Заинтересовавшись этим, мы начали расширять отверстие. Просунув в него лестницу и спустившись с фонарями, обнаружили под всем домом большое помещение размером примерно 11 на 6—7 метров, высотой 3,5—4 метра с ходом из него в северном направлении шириной 1 метр, высотой 1,8—2 метра. Пройти по нему далеко не могли, метров через 5—6 он оказался засыпанным. Стены помещения и хода выложены из бутового камня, своды тоже каменные, полы земляные. Позднее подвал использовали под котельную».

Кстати, И. В. Потаскуев приложил к письму и чертеж подвала. Ход из него идет «в северном направлении». А к северу находится... Харитоновский дом. Случайность?

И еще об одном подземном ходе рассказали мне. Каждый свердловчанин знает два дома Рязановых — один напротив другого — на улице Куйбышева, у моста через Исеть. Так вот, оба эти дома были соединены подземным коридором.

Как-то я повстречался с Владиславом Федоровичем Селевцевым, проректором сельскохозяйственного института.

— Интересуетесь зотовской стариной? — спросил он меня. — А у нас во дворе есть какой-то

подвал. Весьма древний. Хотите покажем?

На следующий день я пошел туда. Институт находился как раз напротив... Харитоновского дома. Там, где когда-то стоял дом Зотова. В самой середине двора, между главным зданием и лабораторными корпусами, находился невысокий, поросший травой холм. В его середине вели двери, наполовину скрытые в земле. Около них ясно виднелась старинная кирпичная кладка, ниже шли гранитные глыбы.

Мы спустились по наклонной доске, служившей для выкатывания бочек (здесь хранилось горючее), и оказались почти в сплошной темноте. Понемногу глаза привыкли к слабому свету, и я увидел, что стою у входа в три узких длинных кладовых со сводчатым потолком. Но средняя из них имела остатки дверных косяков, а боковые — нет. Если навесить на середину дверь, то внутри подвала оказывалось еще одно изолированное помещение. Вокруг него можно было ходить, заглядывать в окошки.

Для чего они сделаны? Такие узкие, маленькие, по два в каждой боковой стене. А ведь за этими стенами мог находиться человек! За стенами... За стенок?!

Попробовал я осмотреть этот подвал и историка А. Г. Козлова. Он не решился утверждать, что это именно «каменный мешок», но и не исключал возможность такого использования найденного помещения.

Несомненным оказалось другое — подвал принадлежит к самой старой зотовской застройке. И хотя от бывшего дома Зотова ничего уже не осталось, подвалы сохранились.

Интересно еще одно. Если допустить, что дома Харитонова и Зотова были соединены подземным ходом (есть и такой вариант легенды), то он должен был идти скорее к этим подвалам, чем к самому дому. Ведь от подвалов до бывшего флигеля Харитоновского дома это самое кратчайшее расстояние. А по преданию все ходы шли от флигеля.

Через два года на этом месте начнется строительство нового здания сельхозинститута и его общежитий. Кто знает, что откроет нам тяжелая лопата экскаватора, которой мы обязаны многими историческими находками...

Каждый день приносил какие-нибудь новости. Персональный пен-

сионер А. П. Засыкин сообщил, например, что в 1913—1914 годах, когда он был еще мальчишкой, ему довелось увидеть два подземных хода. Первый из них в саду дома, в бункере. Ребята нашли вход, за ним железную дверь. Дверь открыли, за ней оказались ступеньки, ведущие вниз. Дальше ребята не пошли. Второй ход — во дворе, где находились каретники и конюшня. Там тоже была железная дверь с кольцом, а за ней также ход со ступеньками. Немного прошли и вернулись обратно.

А тут как-то позвонили знакомые из проектного института и сообщили: «У одной из наших сотрудниц бабушка знает кое-что о подземельях».

Так я познакомился с Магдой Робертовной Стромберг, бывшей до выхода на пенсию доцентом кафедры общей химии Уральского политехнического института. Она была одной из немногих женщин — жительниц Екатеринбурга, получивших до революции высшее образование. Ее отец, Роберт Иванович Эрдман, работал химиком Екатеринбургской золотосплавочной лаборатории. В бывшем доме Харитонова жили хорошие знакомые этой семьи. Дети обоих семейств часто проводили время в старинном саду.

— Году в 1892, кажется, мы бегали по саду, играли, — рассказывала не по годам подвижная женщина. — Самым интересным делом для нас были спуски в таинственные подземелья. Одно из них находилось в северо-восточной части усадьбы. Там стояла беседка, к сожалению, не сохранившаяся до наших дней. Рядом с беседкой — глубокий провал. Спустившись вниз, мы попадали в большое подземелье. Через несколько метров оно перекрывалось еще сохранившимися дверями. Возле них находилась скамейка. За входом потолок провисал так, что мы не рисковали идти дальше.

Второй ход тоже начинался с провала, но уже у самого здания. И здесь были двери, со скамейкой возле них. На скамейке мы отдыхали после этих походов. Ведь приходилось идти в темноте, со свечами. Когда об этих подземных путешествиях узнали наши родители, последовало категорическое приказание засыпать провалы, что и было выполнено.

Очень хорошо помню, что в той части дома, которая обращена к церкви, был ход в стене. Начинаясь он у того участка, который

покрыт гипсовыми розетками. Одна из них при нажатии рукой открывала маленькую дверцу в стене. Ход был очень узкий, но он позволял пройти с этажа на этаж»...

О ходах спорили и в редакции. Услышав один такой разговор, наш автор, заслуженный тренер РСФСР по шахматам Александр Иванович Козлов не выдержал и вступился за легенду.

— Не знаю, что вы думаете обо всем этом, — заявил он, — но я сам ходил подземной дорогой. Я живу в городе 75 лет и моя память хранит многие события до революционной жизни старого Екатеринбурга.

Вот запись рассказа А. Козлова: «Во время учебы в Екатеринбургской художественно-промышленной школе мне в 1913 году попался в руки путеводитель по Екатеринбургу, изданный годом ранее известным фотографом и издателем Метенковым. Среди прочих сведений об истории города там был и рассказ о Харитоновском доме и его подземных ходах.

Однажды, летом 1913 или 1914 года, точно не помню, мы с товарищем попытались искать эти ходы. Начать поиски мы решили в парке. Нас привлекла заброшенная деревянная музыкальная раковина в глубине парка. Вероятно, во времена Харитоновых устраивались гулянья и оркестр развлекал гостей музыкой.

Мы пробрались в каменный подвал раковины и обнаружили в глубине его ход шириной около метра и высотой до 1,5 метров. Прошли по нему 4—5 метров. Нас остановил навал земли: то ли произошел обвал, то ли ход был специально засыпан. Может быть, нам следовало попытаться сделать раскоп, но мы побоялись, что нас может завалить землей»...

Итак, ходы видели не только в 1892 году, но и в 1913 (или 1914). Встречали ли их позже?

Однажды на мой стол лег конверт, подписанный старинным почерком. «Уважаемые товарищи! — писал М. С. Викторov. — Случилось мне встретиться с большим приятелем своим. Он екатеринбургский абориген. Знает бывший Екатеринбург вдоль и поперек. Прочитав ваш репортаж, он сказал: «Чудаки! В 1925 году я лично ходил по этому проходу от прудка по направлению к дому»...

Некоторое время спустя я получил письмо и от самого чело-

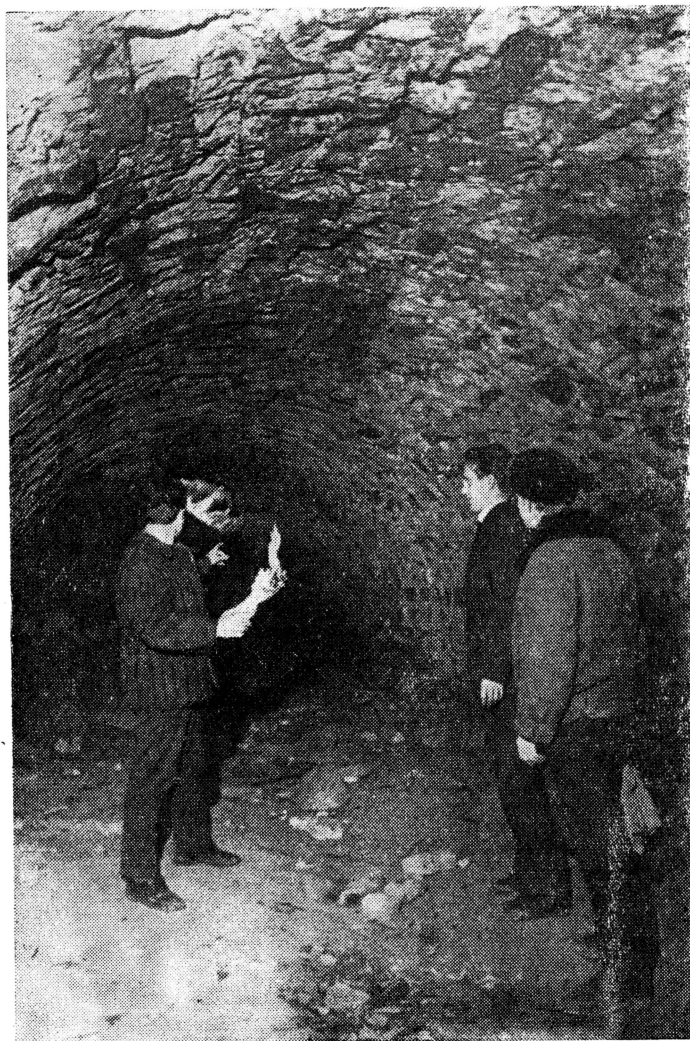
века, о котором сообщал Викторov.

«В 1924 году в порядке общественных работ, организованных для безработных, состоявших на учете на бирже труда, проводилась расчистка озера на территории бывшей усадьбы Харитонова. Вода из озера была спущена, да ее тогда, глубокой осенью, оказалось очень немного, так как в озере отложился слой ила. При подходе к северо-западному берегу озера открылось отверстие. В него я, склонившись, вошел и, пройдя по обнаруженному ходу метров 20, наткнулся на завал из земли и вернулся обратно. Высота хода не меньше 1,5 метров,

ширина один метр. Вот и все. Из приложенного примитивного чертежика вы увидите обозначенный пунктиром предполагаемый мною подземный ход, который вел в беседку, стоявшую в северо-восточном углу усадьбы.

Беседка эта имела глубокий каменный подвал, размером, насколько я помню, метров 6×6. В стенах его были вделаны штыри с кольцами, а на полу оказались обломки звеньев металлической цепи, сильно проржавевшие».

Что еще добавить к этому письму? Пожалуй, только то, что его автор — Николай Петрович Фели-



Подземный ход или склад? Фото В. Долганина.

цын — в те годы был заместителем заведующего Екатеринбургской биржей труда и сам руководил этими общественными работами. Биржа труда помещалась в том же Харитоновском доме!

Как вы заметили, речь снова идет об одном и том же ходе, ведшем к беседке. Прошло более 30 лет с того момента, как им ходила Магда Робертовна, и десять лет после посещения его А. И. Козловым. Вероятнее всего, не выдержал, осыпался еще один участок. Его-то и увидел Николай Петрович.

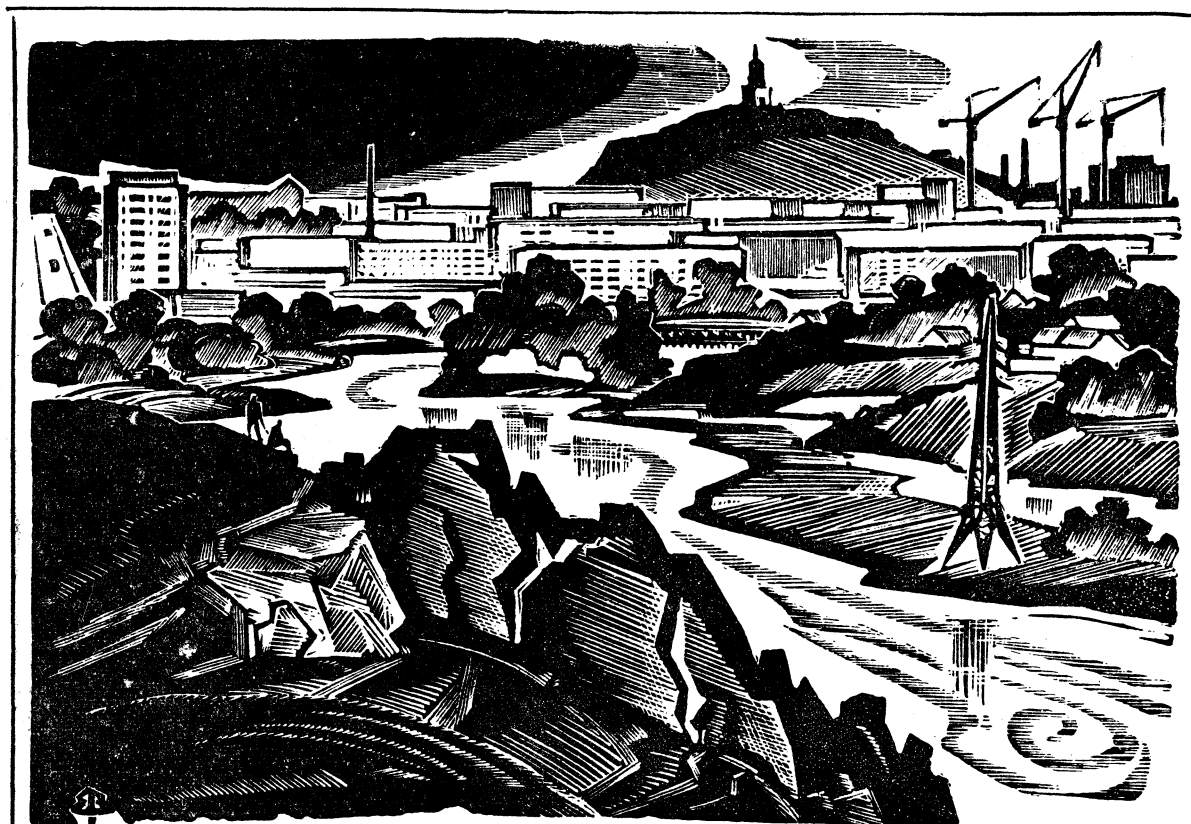
Можно, примерно и начертить,

как это сделал Н. П. Фелицын, схему сада и проложить предполагаемую линию подземного хода. Она начнется где-то в районе правого крыла дома (с бельведером на крыше) и, минуя северо-западную часть озера, пойдет в северо-восточный угол сада. Именно там, на горке, стояла не существующая ныне беседка. Два обреза этого хода можно будет чертить не штрихами, а ровной линией — в этих участках побывали люди, живущие и ныне в городе, люди, с которыми мне удалось поговорить.

Много тайн хранит самое красивое здание Свердловска — бывший Харитоновский дом, тот самый «дом в Узле», который описал Д. Н. Мамин-Сибиряк. И среди них тайна подземных ходов.

Долгое время не везло легенде о подземных ходах. Многие историки и краеведы считали это досужей выдумкой. Но искать подземелья никто специально не пытался. И вот первые открытия! А может, дальнейший поиск-то и решит давнюю загадку?!

Э. ЯКУБОВСКИЙ



На Урале.

Гравюра Е. Вагина

Михаил
НАЙДИЧ

Разведка

Там чертов дот
В невинный куст рядится:
Передний край —
Раздумье и беда...
Разведчики завидовали птицам,
Летающим беспрепятственно туда.

Чуть вздрогнул лес,
Едва качнуло ветку,

В болоте ржавом чавкнула вода.
Разведчики завидовали ветру,
Он в тыл к врагу
Пробрался без труда.

Когда же лунный диск
Скользнул по лицам,
Ушли ребята по лесной тропе.
...Не спится звездам
И реке не спится;
Не спится генералу на КП.



Герман
ЦВЕТКОВ

Вуокса

От дальнего плеса
До ближнего плеса
Водою и небом
Вот как увлекся!
А так я увлекся:
Весь мир раскололся,
Что было, то сплыло —
Осталась Вуокса.
Осталась Вуокса,
Да небо в Вуоксе,
Да в небе — Вуокса
Течением синим,
Да туч валуны,
Да волны у сосен,
Да взгляд из-за веток —
Пугливый лосиный,
Да ветер смолистый,
Прохладный и верткий —
Ни в парус его не поймать,
Ни в ладони,
Да рвущая волны с налета моторка,
В моторе резвятся веселые кони.

Все я позабыл:
Рыбацкие снасти,
Охотничью страсть
На рассвете сонливом.
Владей мной, Вуокса,
На долгое счастье,
Как я завладел
Твоим синим разливом.

* * *

Краснело солнце шлемом водолаза,
Из моря поднимаясь не спеша.
А море у разбитого баркаса
Швыряло пену, по камням шурша.
Так начиналось утро.
И дымились
Макушки дюн.
И ветер низовой
С листвою опавшей бешено крутились,
Срываясь в затихающий прибой.
Был светел мир, подвижен и беспечен,
Как полыханье жаркого огня.
И до того, наверно, бесконечен,
Что место в нем нашлось и для меня.



Борис РУЧЬЕВ

Исполнилось 60 лет поэту Борису Александровичу Ручьеву, вся жизнь, все творчество которого неразрывно связаны с Уралом. Он возводил Магнитогорск, работая на стройке плотником и каменщиком, и город его комсомольской юности вдохновил рабочего паренька на первые поэтические строчки. Теме труда, теме подвига народа, его неизбежной молодости и силы поэт остается верен во всех своих книгах.



ОТХОД

*Эй, прощай, которая моложе
всех своих отчаянных подруг.
А. Прокофьев*

Прощевай, родная
зелень подорожья,
зори, приходящие
по ковшам озер,
золотые полосы
с незрелой рожью,
друговой гармоники
песенный узор.
На последней ставке
нашего прощанья
трону всем товарищам
руки горячо.
Сундучок сосновый
с харчем да вещами
правою рукою
вскину на плечо.
И тогда — в минуту
самую отчаянную —
проводить за улицы
да за пастыри
выходи, которая
всех подруг печальнее,
в распоследний, искренний
раз поговорить.
Дорогая, слушай...
До своей околицы

никогда парнишку
не ходи встречать.
От тоски по городу
извела бессонница,
манит город молодость,
далью грохоча.
Может, не встречаться нам
с прежнею улыбкою,
ты мои из памяти
выбросишь слова,
песни колыбельные
будешь петь над зыбкою,
моего товарища
мужем называть.
Только помни — близким
и далеким часом,
если пожалеешь,
что не шла со мной,
встречу тем же самым
парнем синеглазым,
без обиды в сердце
назову женой.

.....
Смокла на платочке
кромка вырезная...
Девушка осталась
у родных краев...
Принимай парнишку
с синими глазами,
город дымноструйный,
в ремесло свое!

(Из сборника «Вторая родина». 1933.)

* * *

По слухам, поднимаясь из берлоги
и не боясь с мороза околеть,
почти всю зиму бродит по дороге
страдающий бессонницей медведь.
Как будто бы туманными ночами,
в железный холод, в жгучую пургу,
проездом шофера его встречали
на каменном застылом берегу.
Мохнатой лапой обметая плечи,
встав на дыбки, сквозь вьюгу напролом
идет медведь совсем по-человечьи,
весь запорошен снежным серебром...
Пусть чудеса случаются на свете,
но я ручаюсь все-таки в одном:
в такую зиму кровные медведи —
по доброй воле — спят спокойным сном.
Любой из них и в мыслях не захочет
спускаться с гор к речному рубежу.
По должности своей — ночной обходчик,
здесь только я дорогу обхожу.
Большую шубу опоясав туже,
похожий на медведя в полумгле,
один я ночью мыкаюсь на стуже
по заполярной, сказочной земле.
И разве полуночнику такому,
мне может быть отказано судьбой
курить махорку, тосковать по дому,
за тыщи верст беседовать с тобой,
угадывать восходы по приметам,
назло пурге сыграть вперегонки,
сесть на снегу и видеть до рассвета
далеких глаз родные огоньки?
И все-таки не чувствовать обиды
за дикий свой, смешной медвежий вид,
при жизни мы, порой меняя виды,
все так живем, как родина велит.
Она пошлет то ласково, то строго,
то в холод лютый, то в жестокий зной.
Во все края бежит одна дорога
хранимой нами родины одной.



Она приучит к радостям и бедам,
сама одежду выдаст по плечу,
она прикажет —
я живу медведем,
она велит —
я соколом взлечу.
...И пусть тебе приснится в эту пору
пурга
над белой северной рекой,
по берегу
дорога вьется в гору,
а вдоль по ней,
освистанный пургой,
мохнатой лапой обметая плечи,
в мороз стараясь сердце отогреть,
во весь свой рост
идет по-человечьи
страдающий бессонницей медведь.

(Из сборника «Красное солнышко», 1960.)



На портрете — Софья Перовская

Многочисленные посетители Пермской художественной галереи знают и любят это полотно. Со времени поступления его из Государственного Русского музея (1938 год) оно бесспорно висит в залах русского дореволюционного искусства, привлекая всех мастерством живописи, чистотой и нежностью двух детских лиц, изображенных на нем.

Как свидетельствует авторская подпись в правой части холста, написал портрет в 1859 году художник Иван Кузьмич Макаров (1822—1897). Сын учителя рисования, бывшего крепостного, он, еще будучи учеником Саранской художественной школы, обратил на себя внимание Петербургской Академии художеств. Совет Академии, познакомившись с его картиной «Молодые мордовки», отметил в нем «особенный талант к художеству» и присвоил звание неклассного художника.

В 1845 году талантливый юноша был зачислен в Академию художеств в класс профессора А. Т. Маркова. Уже тогда он пишет много портретов. Среди них особенно выделялся портрет жены А. С. Пушкина, который сама Наталья Николаевна любила и считала одним из лучших своих изображений. Позднее с присущим ему мастерством написал портреты дочерей, а затем и внучек великого русского поэта.

В 1850—1870 годы имя портретиста И. К. Макарова становится широко известным. «Кисть его на лету схватывает такие жизненные черты, такие мысли, оригинальные и характеристические, что его портреты становятся замечательными произведениями живописи», — писала газета «Московские ведомости». Ему стремятся заказать свои портреты «все первые особы высшего света».

Но кто изображен на пермском полотне Макарова, долгое время было не известно.

В 1859 году, как утверждает внук художника, Иван Кузьмич познакомился с крупным сановником Львом Николаевичем Перовским и по его заказу исполнил портрет дочерей — Марии и Софьи. Девочкам в ту пору было 9 и 5 лет. Не они ли изображены на этой картине?

Первое такое предположение сделал еще в годы Отечественной войны искусствовед Алексей Николаевич Савинов. Сравнивая портрет с фотографиями 1866 и 1878 годов, он заметил большое сходство одной из девочек с Софьей Львовной Перовской, будущей известной революционеркой, видной деятельницей партии «Народная воля». «В такой мере, в какой возможно в лице ребенка узнать черты лица девочки-подростка или молодой девушки, — писал А. Н. Савинов, — в портрете, написанном Макаровым, вполне узнаются черты лица С. Перовской... Если привлечение дополнительных материалов (фото С. Перовской в детском возрасте) сможет быть произведено с благоприятными для предложенного определения портрета результатами, то Пермская художественная галерея окажется обладательницей весьма любопытного и редкого иконографического памятника».

Продолжая изучение этого портрета, мы просмотрели довольно большой изобразительный материал. Но в наших руках, к сожалению, не было фотографии Софьи Перовской в раннем возрасте. И вот года два назад в поиски включилась московская филателистка Л. Б. Федосеевко. Ей удалось познакомиться с живущими в Москве внучатыми племянницами Софьи Львовны — Н. В. и С. В. Перовскими. По имеющимся у них семейным фотографиям и по рассказам своего покойного деда — родного брата Софьи Перовской — Василия, они подтвердили догадку искусствоведов. Пятилетняя Соня изображена на портрете слева (см. первую страницу вкладки).



Е. ЕГОРОВА, Г. ПОЛИКАРПОВА,
сотрудники Пермской художественной галереи



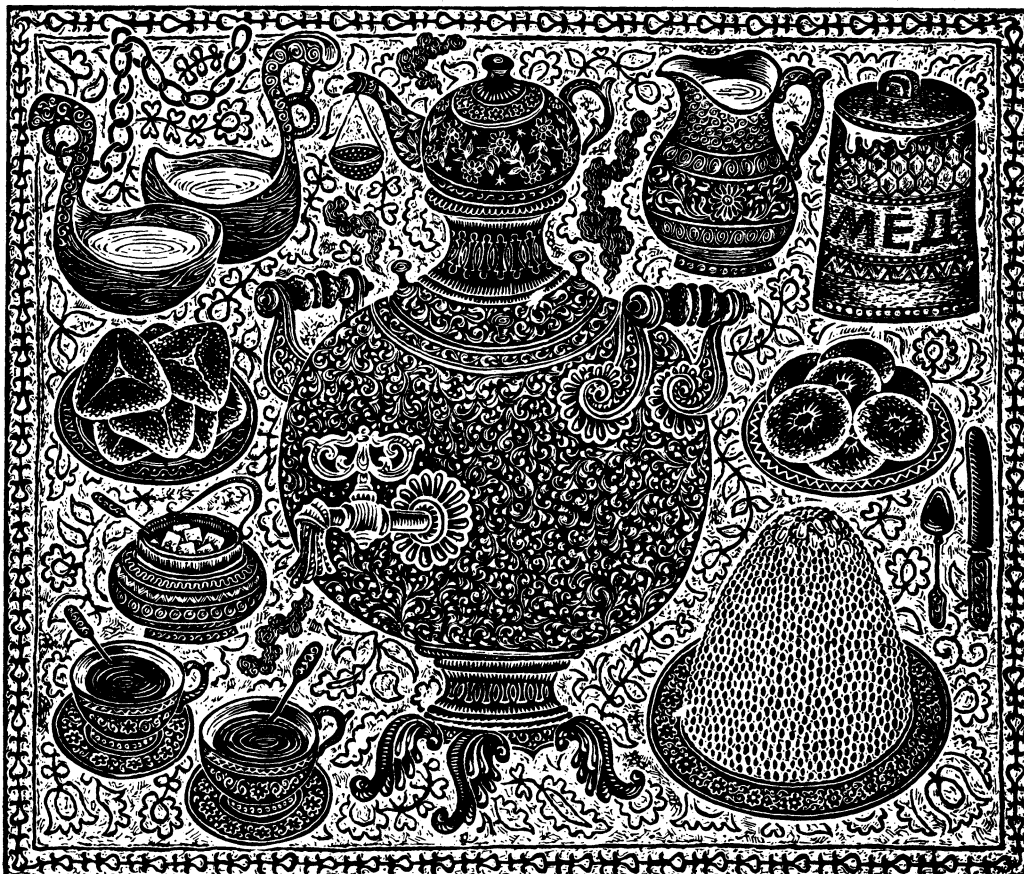


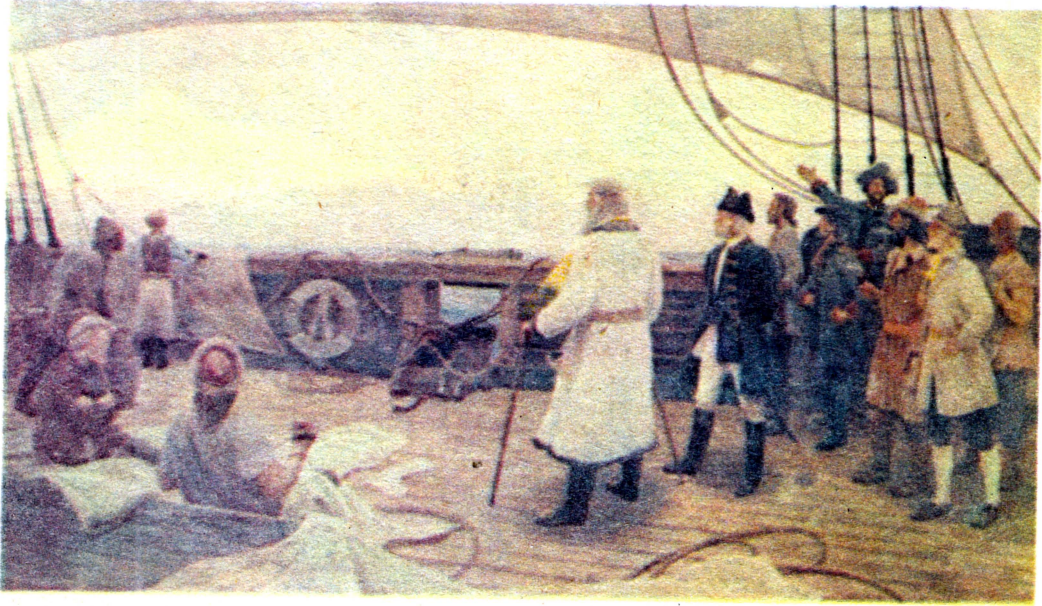
ГРАВЮРЫ

С. Ковалева

и В. Рудакова

(г. Уфа)





ОТКРЫТИЕ АЛЯСКИ

В мае 1971 года Вильям Рамсон Вуд, ректор Аляскинского университета в торжественной обстановке объявил о присуждении почетного звания доктора наук художнику-самоучке Колкору Хеурлину. Столь высокой чести он был удостоен за ряд картин из истории Аляски, и в первую очередь за картину «Великая земля», на которой воспроизвел один из замечательных моментов в истории русских географических открытий XVIII века — открытие северо-западной Америки Витусом Берингом и его сподвижниками.

К этому открытию Беринг и его товарищи готовились необычайно долго — около 16 лет. Ради него им пришлось трижды объехать всю Сибирь, совершить ряд смелых плаваний по тогда еще «неизвестным» водам крупнейшей северной части Тихого океана. Так, хотя и с опозданием, было выполнено задание Петра I, мечтавшего, чтобы русские дошли до тогда еще неизвестных берегов северо-западной Америки.

На картине «Великая земля» К. Хеурлина запечатлено мгновение, когда мореходы увидели вдали одну из крупнейших вершин Северной Америки — гору Святого Ильи, высотой в 5488 метров.

На картине изображена палуба русского пакетбота «Св. Петр». На переднем плане — фигура Витуса Беринга. Несмотря на летний день, он в теплой шубе: его уже мучает цинга, которая менее чем через полгода унесет его в могилу. Рядом с ним — Свен Ваксель, тот самый сподвижник Беринга, интереснейшие дневники которого были обнаружены лишь недавно. У борта судна стоит с протянутой рукой выдающийся ученый Георг

На вкладки: «Великая земля» — картина К. Хеурлина.

Стеллер. Именно во время этого исторического плавания он сделал ряд открытий и как зоолог, и как ботаник. На палубе спиной к зрителю сидит больной матрос Никита Шумагин: он с трудом приподнялся со своего ложа, жадно смотрит на берег. Дни его уже сочтены: ровно через сорок дней он погибнет от цинги и его похоронят на островах, которые с тех пор станут называться Шумагинскими.

Картина производит большое впечатление, и она, несомненно, будет часто воспроизводиться в книгах по истории русских географических открытий на Тихом океане. Поэтому уместно здесь кратко рассказать и о самом художнике.

Хеурлина с детских лет манили дальние страны. В 1916 году юный Хеурлин нанялся матросом на судно и отправился с ним в Аляску. Осенью того же года он с борта парохода увидел заснеженную вершину гигантской горы Св. Ильи. Навсегда запомнился тот день. И когда ему стало известно, что именно в этом месте Беринг и его сподвижники впервые увидели берега Северной Америки, у Хеурлина возникло желание запечатлеть это историческое событие в красках.

Жизнь не баловала Хеурлина: то он работал на рудниках, то вновь уходил в моря. Некоторое время был китобоем, причем учился этому у легендарного эскимоса Таакпука, который за свою жизнь, полную рискованных приключений, забил 119 китов! И куда бы жизнь ни забрасывала его, всюду он рисовал, рисовал, рисовал... Задумав картину о Витусе Беринге, Хеурлин стал изучать историю его камчатских экспедиций, записки Свена Вакселя и Георга Стеллера. Желая воссоздать правдивую обстановку события, он стремился

узнать все подробности: форму одежды моряков той эпохи, внешний вид русского пакетбота и другие детали. С этой целью Хеурлин обратился с письмом в музей Ломоносова в Ленинграде.

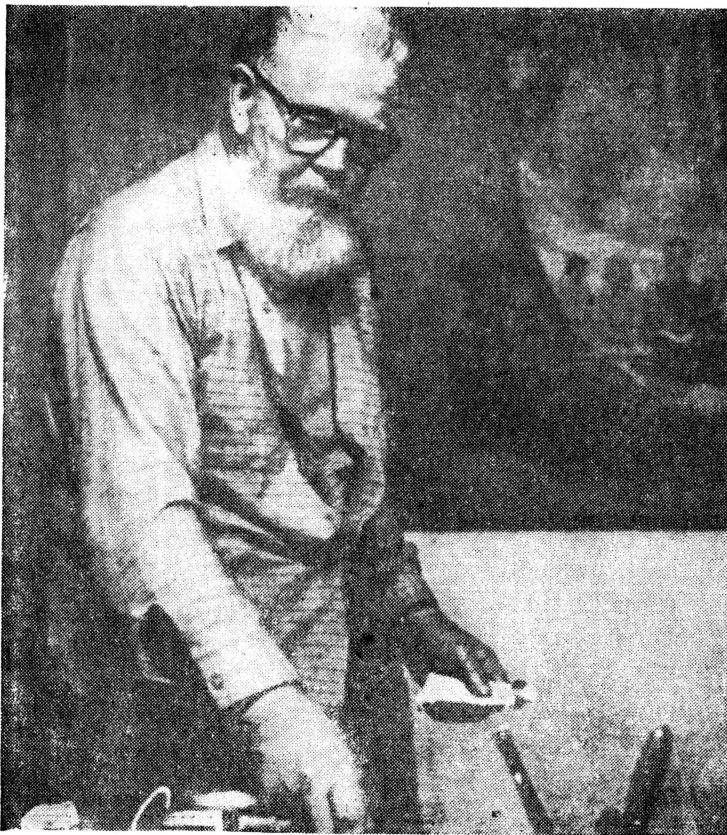
Директор музея Валентин Лукич Ченакал откликнулся на просьбу американского художника. В июне 1962 года он отослал на Аляску портрет Беринга, изображение модели десятипушечного бота, зарисовки костюмов морских офицеров и матросов.

В ответ Хеурлин взволнованно сообщал, как глубоко его тронула помощь советского ученого: «Теперь становится возможным заняться серьезной разработкой композиции моей картины «Открытие Аляски».

Но работа над картиной шла медленно. Мешали не только текущие дела, но и новый, еще более значительный замысел. Он решил создать особую картинную галерею, в которой были бы запечатлены наиболее яркие моменты истории Аляски.

По замыслу Хеурлина, картины должны быть развешаны в особом здании, в центре которого — большой круглый зал с вращающейся площадкой для зрителей. Демонстрация начнется с показа самой крупной картины «Великая земля», посвященной открытию Витуса Беринга и будет сопровождаться магнитофонной записью выступления аляскинского поэта





Художник К. Хеурлин в своей мастерской в Истере.

Рубена Гейнса, который под аккомпанемент специально подобранной музыки читает свои стихи о событиях, отображенных в картинах.

Следующие полетна должны рассказать о других событиях, связанных с открытием и освоением Аляски. Тут и Георг Стеллер, заметивший на острове Каяк характерную для Америки хохлатую сойку. («Эта птица, — писал Стеллер, — подтвердила мне, что мы действительно в Америке»). Тут и панорама столицы Русской Америки — города Ново-Архангельска на острове Ситха в период, когда этим районом правил продолжатель дела Г. И. Шелихова — А. А. Баранов. И портреты представителей коренного населения этого края: алеутов, индейцев — тлинкитов и хайда.

В одном из своих последних писем в Ленинград аляскинский художник пишет: «Я хочу совершить поездку в Советский Союз с тем, чтобы посетить Эрмитаж и другие ваши знаменитые музеи... получить возможность своими глазами увидеть красоту русской природы и произведения ваших великих людей, которые создали такие шедевры во всех видах искусства».

Б. П. ПОЛЕВОЙ,
кандидат исторических наук.

УВЛЕЧЕНИЕ – ПРОФЕССИЯ

СЛЕДОПЫТЫ



СООБЩАЮТ

Говорят, призвание, как колос из зернышка, прорастает из какого-то определенного увлечения. Наверно, именно поэтому члены геологического кружка Новосибирского Дворца пионеров считают геологию своей будущей профессией.

Кружок работает уже много лет. А руководит им старейший педагог, неутомимый путешественник, влюбленный в свой край, Семен Аронович Стром.

Ребята изучают природные богатства нашей Родины, ходят в походы, участвуют в геологических олимпиадах Сибирского Академгородка.

Вместе с С. А. Стромом юные геологи побывали на Алтае, Саянах, в Забайкалье, Крыму и Средней Азии. Почти каждое воскресенье они — у обрывистых берегов Оби, в старых карьерах.

Гордость Дворца пионеров — геологический музей, созданный членами кружка.

Саша ПИСАРЕНКО, юнкор Дворца пионеров

КОМАНДИР МОЕГО БАТАЛЬОНА



**Леонид
СЕЛИВАНОВ**

Рисунки Н. Мооса

Недавно я получил письмо. Преподаватель ГПТУ из города Копейска И. Л. Рагозин писал: «С большой радостью узнал, что вы однополчане с Семеном Васильевичем. Хохряков родился в селе Коелге Челябинской области, от Копейска 40 километров. Там, у школы, в которой учился Семен, установлен его бронзовый бюст...»

Ну вот, мой комбат и в бронзу оделся. А ведь память хранит такое живое лицо этого человека.

Впервые я с ним встретился осенью 1944 года. Армия готовилась к решительному наступлению: пополнялась техникой, людьми, шли учения. Мне, офицеру политотдела, предстояла служба во втором танковом батальоне, который расположился в негустом, с большими пролысынами лесу. По пути к штабу я проходил мимо замаскированных машин, возле которых хлопотливо возились люди в комбинезонах и танкистских шлемах. Подходил, здоровался, представлялся, всматриваясь в смуглые, то ли от загара, а может от пороховой копоти, лица своих будущих однополчан. В ответ встречал насторожен-

ные, чуть снисходительные взгляды. Танкисты, как и летчики, очень высокого мнения о своем роде войск. Считают, что тут служат избранные, и к человеку с погонями без танкистской эмблемы поначалу относятся несколько пренебрежительно. Пока новичок не покажет себя в деле.

Очень крупный человек — такой большой, что невольно подумалось: как он залезает в танк? — подошел ко мне и с едва заметным акцентом представился:

— Командир взвода Байгулов, Костя. Я тоже недавно прибыл. Заходи ко мне. Товарищем будешь.

С Костей Байгуловым впоследствии мы стали такими товарищами, если не друзьями. На марше я часто следовал с его взводом, сидя на его танке, и, как единственный пехотинец, нередко выполнял обязанности разведчика.

Костя был мне очень симпатичен. Нравилась в нем



большая сила и вместе с тем исключительная доброта. Он был осетин, и я часто шутил называл его именем прославленного осетинского поэта Косты Хетагурова. Байгулов смеялся, но не возражал.

В ту первую встречу он доверчиво жал мне руку и, как радушный хозяин, зазывающий гостя в дом, приглашал посмотреть на танк:

— Новенький, только что с завода...

Вдруг кто-то рядом сказал: «Комбат идет!» Я оглянулся и увидел в группе офицеров легко шагавшего человека в меховой куртке танкиста. Его я сразу выделил из других. Не то чтоб он был выше своих спутников ростом или как-то особенно начальственно вышагивал. Нет. С первого взгляда в нем угадывался человек большой воли. Сразу подумалось: «Этот суетиться не будет». А еще мне запомнилось, что был он без головного убора. Взгляд невольно привлекала его крупная голова с густыми черными волосами. Когда комбат подошел поближе, я увидел его карие, с доброй усмешкой глаза и лицо в мелких оспинных крапинках, услышал спокойный, чуть глуховатый голос: «Здравствуйте!» и ощутил крепкое пожатие сильной руки.

Комбат был немногословен. Он лишь сказал обычную в этих случаях фразу:

— К нам? Это хорошо. Значит, будем вместе воевать.— И внимательно, с улыбкой в глазах всмотрелся мне в лицо.— Потом с начальником штаба все оговорите,— он показал на стоящего рядом капитана-коротышку.

— Пушков,— представился тот и хитро улыбнулся.

Познакомился я и с другим капитаном, Козловым, заместителем комбата. Козлов был по-юношески строен, скор на ногу. Но как-то сразу угадывалось, что на первых ролях ему не довелось быть. Не чувствовалось в нем командирского характера.

Впоследствии мне часто приходилось наблюдать поведение этих трех командиров. Козлов бывало в бою и роту возглавит, и решение правильное примет, но вот не было у него при этом вдохновения, порыва такого, что искру отваги в душе солдата высекает. А Пушков... Тот был очень крут, не в осуждение теперь будь сказано. Любил и поехидничать. Оттопырит верхнюю губу, сощурит и без того узенькие щелки-глаза и скажет, тыча пальцем: «Ты куда... Куда ты лез? Тебе не танком командовать, в колхозе быкам хвосты крутить. А ну... и чтобы через пять минут доложили!» И провинившийся командир танка бежит исправлять допущенный промах.

Рассказываю все это о ближайших помощниках комбата не затем, чтобы потом им противопоставить комбата: а вот он, дескать, был совсем другим. Что был другим — это точно. Ведь обычно так подбирают характеры начальника и его помощников, что они дополняют друг друга. С одинаковыми характерами не уживаются. В хорошем смысле сло-

ва — не уживаются. Здесь есть какая-то природная, что ли, целесообразность: зачем растрачивать силы, повторяя друг друга?

Но думаю, что и при желании трудно было бы повторить натуру комбата. В те дни, когда батальон стоял на формировке, я видел Хохрякова всегда спокойным и часто мне казалось, что в разговоре с подчиненными у него сквозит какая-то интеллигентная застенчивость, боязнь, что ли, обидеть человека. Это на фронте-то! Даже приказывал он со своей подкупающей улыбкой, словно при этом говорил подчиненному: «Мы ведь с тобой понимаем, что только так и надо... Действуй, все должно получиться».

Но к тому времени, как я прибыл во второй батальон 54-й гвардейской танковой бригады, его командир уже носил Звезду Героя.

О Хохрякове я слышал и раньше. До этого я воевал в соседней бригаде — 23-й мотострелковой. Часто обе бригады действовали совместно. И еще с тех пор запомнилось: «Батальон Хохрякова», «хохряковцы». Не второй батальон, а именно «батальон Хохрякова».

Гордились хохряковцы своим комбатом. Солдату ой как надо верить в командира. Ведь в нем его боевая судьба, удача и жизнь. Все в его руках. Счастлив солдат, когда служит под началом умного и смелого командира. Мне повезло: на фронте у меня были именно такие начальники. В городе Василькове, что под Киевом, рядом с Семеном Хохряковым спит вечным сном комбриг 23-й гвардейской мотострелковой дважды Герой Советского Союза полковник Головачев. Это был человек смелости и храбрости необыкновенной. Он, поди, и сам под конец сбился со счета, сколько раз его метили немецкие пули и осколки. Вероятно, давно бы ему можно было списаться на «гражданку», но полковник, высокий, худой, с лихорадочно горящими глазами, оставался рядом с солдатами.

Служил у комбрига шофером на «виллисе» его младший брат, во всем желавший походить на старшего. Однажды на Букринском плацдарме, за Днепром, они вдвоем колесили ночью по позициям батальонов и нарвались на немцев. Первыми же выстрелами наповал был убит младший брат. Полковник сел за руль сам и увел машину с полевой дороги...

Серым бессолнечным утром хоронили мы младшего Головачева. Комбриг неподвижно стоял у открытой могилы. С черным от горя лицом, со свежей повязкой на шее, с еще более ввалившимися глазами, он был похож на придорожное дерево, опаленное пожаром, израненное железными бортами проходивших машин, но стоящее крепко, словно с вызовом всем невзгодам.

Не успело затихнуть эхо траурного залпа, как комбриг подозвал к себе начальника штаба, потребовал карту и начал разбор боевой обстановки...

Вот и о Семене Хохрякове уже в то время, когда я прибыл к нему под начало, ходили легенды. Рассказывали, что в один из прорывов немецкой обороны его батальон наткнулся на многочисленный вражеский гарнизон. В большом украинском селе было сосредоточено много артиллерии, пехоты, до сотни всевозможных машин — от легковых до бронетранспортеров. А у Хохрякова десятка полтора танков, и все. Что делать? Разведчики, прихватившие с собой хлопца из того села, докладывали комбату обстановку и ждали его решения.

— Ничего, — сказал комбат, — устроим им сюрприз.

Темной ночью вдруг вспыхнули прожекторами огни фар и охватили деревню полукольцом. Со страшным грохотом танки ринулись на похрапывающий в теплом сне вражеский гарнизон.

На полном ходу машины не переставая палили из пушек, строчили из пулеметов. На врага наваливалось что-то невиданное, чудовищное. И он запаниковал. Хохряковцы ворвались в село, давая пушки, машины, опрокидывая бронетранспортеры.

И совсем уж не из легенды, а из наградного листа — рассказ о многочасовом поединке Хохрякова с превосходящими силами врага. Было то под Проскуровом. Враг отчаянно сопротивлялся, переходил в контратаки. В один из таких дней нашей пехоте надо было отойти за реку, а танкистам предстояло сдержать рвущегося противника и предотвратить вступление в бой его свежих сил. Хохряков получил приказ перехватить колонну «тигров».

К тому времени в батальоне оставалось лишь семь «тридцатьчетворок». Но хохряковцы дрались отчаянно. Кому довелось пусть не участвовать, а лишь видеть поединки танков, — тот уже никогда не



забудет этого зрелища. Железные чудовища сначала медленно, неуклюже разворачиваются, затем, все убыстряя бег, стреляя лоб в лоб из пушек, несутся навстречу друг другу. Все ближе, ближе. Вот сейчас эти железные чудовища столкнутся, сомнут друг друга. Последние секунды проходят в напряженном ожидании: кто первый отвернет? Кто не выдержит — и первым получит в бок, по гусеницам смертельный удар?..

Попробовала одна «тридцатьчетверка» взять на таран «тигра» — не получилось. «Тигр» приземист и намного тяжелее...

— Маневрируй! Не стой на месте! Кружись! Огонь! Все время огонь! — кричит в мегафон Хохряков своим танкистам.

Но гибнут в неравной схватке один за другим экипажи. Бой ведут уж только два танка.

Вместе с машиной комбата мечется среди «тигров» танк старшего лейтенанта Мощного. «Упрямый хохол,— успевает любовно подумать о нем Хохряков,— не поддастся». И тут же командует: «Уходи в сторону от меня! Уходи!» Пусть два танка, но и они заставят немцев отбиваться на все стороны! Две отважные «тридцатьчетверки» сдерживали несколько десятков немецких танков.

Но вот комбат уже не видит машины Мощного, и у самого вышла из строя пушка. Танк беззащитен. Но Хохряков снова и снова появляется перед «тиграми», заставляя их гоняться за собой. Танк постоянно под огнем. Один за другим поникают получившие смертельные раны боевые товарищи. Хохряков садится на место убитого механика-водителя...

...Так проходят равные вечности три часа. Комбат и сам ранен, осколки впелись в грудь, спину, руки. Кровь хлещет из ран, но он держится. И только когда на помощь пришли танкисты из других батальонов, он позволяет своему телу расслабиться и тут же теряет сознание.

Армия, фронт готовились к новому наступлению, которое впоследствии получило название Висло-Одерской операции. В батальоне было много новичков. Но люди быстро сходились: на второй-третий день после встречи отношения были такие, словно все они — и опаленные порохом ветераны, и безусый молодяк — были давным-давно знакомы, только разлучались ненадолго и вот опять встретились.

Впрочем, встречались и старые друзья. В батальон из госпиталя возвратился тот самый старший лейтенант Мощный. При виде его радостно засветились глаза Семена Хохрякова. Комбат было потянулся обнять своего боевого соратника, но, видно, постеснялся других офицеров и лишь крепко-крепко пожал ему руку.

— Ну, ты молодец, что выжил! Тут такие нам дела предстоят... В общем, иди, принимай вторую роту...

Никто, разумеется, не знал, когда будет отдан приказ о наступлении, но все чувствовали: вот-вот. Командиры рот получили новые карты, на которых крупным шрифтом выделялось название польского города Ченстохова. Взводу технического обслуживания было приказано еще раз проверить состояние боевых машин, иметь все необходимое для ремонта танков, совсем пока еще новеньких, таких сейчас симпатичных «тридцатьчетверок»...

Техник-лейтенант Назарец в лоснящемся от масла комбинезоне тщательно копался со своими ребятами в машине комзавода Байгулова.

— Смотри, Назарыч,— шутливо грозил Костя,— если она у меня вдруг станет — мне позор, а тебе

от меня кровная месть! Ты кавказец, я кавказец. Понимать надо.

— Да что ты меня в кавказцы-то записываешь! — добродушно ухмылялся Назарец.

— А нос? Куда нос денешь?

У Назарца и вправду нос тонкий, с большой горбинкой. И хотя все знали, что техник-лейтенант не только потомственный русский, но и коренной сибиряк, шутники строили всевозможные догадки насчет его «истинной» национальности.

Пока шутки не выходили за рамки приличия, техник-лейтенант, снисходительно улыбаясь, молча слушал резвившихся товарищей. Но если кто уж слишком — тут Назарец вставал и уходил. Ни разу сердито не одернул шутника. На это он по своей натуре был просто не способен. В батальоне Назарец — самый старший по возрасту, где-то за сорок. Однако с нами, двадцатилетними парнями, он держался как одноклассник, лишь смиренно просил называть его по имени и отчеству — Прокопий Яковлевич. Эту просьбу выполнял, кажется, я один. Остальные его называли просто Назарычем.

С ним мы особенно сблизились. Мне довелось в первые годы после войны побывать в командировочной поездке в кузбасском городе Белове, там на цинковом заводе я встретил Назарца. Прокопий Яковлевич обрадовался безмерно. Со всеми меня познакомил, всем говорил:

— Мой фронтовой друг. Вместе служили в 3-й гвардейской танковой армии, в батальоне Хохрякова, дважды Героя.

Его слушали, улыбаясь, отвечали:

— Да знаем, рассказывал ты нам!

Уж давно отшумели бои, сняты с гимнастерки видавшие виды погоны, да и сами гимнастерки поизносились. Течет время, а прошлое в памяти, как островки в полноводной реке...

...Ранним-ранним утром — так уж, видно, принято на войне — батальон выступил в поход. Ему было приказано двигаться впереди бригады.

Еще не была сокрушена главная полоса обороны противника, а танкисты майора Хохрякова, вклинившись в небольшой разрыв у реки Пилица, рванули вперед. Машины мчались, сминая попадавшие на пути обозы и колонны автомашин с боеприпасами, сметая заслоны, наспех выставленные врагом, не обращая внимания на то, что на флангах и в тылу еще остается противник.

Путь наш лежал больше по проселочным дорогам, в обход крупных населенных пунктов. Стараясь избегать встречи с основными силами врага, чтобы не задержаться в рывке, мы намеревались выскользнуть к исходу дня к городу Ченстохову, крупному промышленному центру на юго-западе Польши, обойти его с запада, зацепиться за него и держаться до подхода всей бригады.

Уже в первой половине дня мы прошли

восемьдесят километров. Танки не сбавляли хода. В одном месте батальон выскочил на шоссе, наме-реваясь пересечь его и идти дальше, и сразу же нарвался на длиннущую колонну автомашин про-тивника, которая везла своим частям боеприпасы, горячее. Немцы — ходу, но танкисты меткими вы-стрелами из пушек разбили головные машины и да-вай утюжить всю колонну!

В другом месте батальон наткнулся на аэродром «мессершмиттов» и много помял самолетов, мял их до тех пор, пока немцы не пришли в себя и не под-няли в воздух уцелевшие машины.

После в военных училищах и академиях изуча-ли прорыв, совершенный 3-й гвардейской танковой армией, и удивлялись, с какой смелостью была задумана эта операция. Возможно, говорили и о дерз-ком рейде второго батальона 54-й бригады...

Что и говорить, смелые были операции... Но ка-ких же отважных, — нет, не только отважных, а и талантливых командиров нужно было иметь, чтобы осуществить их! Суметь сориентироваться в ежеми-нутно меняющейся обстановке, искусно обойти, не увязнуть в боях с крупной частью, отбросить опас-ливую мысль о том, что, все больше зарываясь в тыл противника, батальон может остаться один на один с врагом.

К исходу дня мы вышли на западную окраину Ченстохова. Приказ был выполнен.

Много дней провел я рядом со своим комба-том, и лишь однажды он обронил несколько слов о самом себе.

Было это уже на исходе боев Висло-Одерской операции. Бригада к тому времени поредела страшно. В нашем батальоне оставалось всего три танка. А в других, кажется, и того меньше. Мы уже не шли, как прежде, в голове колонны, а, пропу-стив вперед других, продолжали движение «нале-жке», посадив в трофейные автомашины «безлошад-ных» танкистов.

Ждали, что вот-вот нам прикажут остановиться, дадут новые танки и мы опять загремим стальными гусеницами по булыжным мостовым немецких горо-дов. Но вдруг последовал совсем иной приказ: свер-нуть к деревне... Вот названия ее не помню, знаю лишь, что она где-то километрах в пятнадцати-два-дцати от города Бунцлау. Была эта деревня построе-на почему-то в длинном, «с усами», овраге. И лишь несколько более богатых домов стояло наверху. Каким-то образом в овраге «застряла» окруженная немецкими танками одна наша часть. Надо бы-ло выручать неудачников. Но слишком мало у нас было сил, чтобы прорвать танковое кольцо врага.

Случился один из парадоксов войны. По всему фронту немцы отступали, слева и справа неудержи-мо катилась вперед лавина наших войск, а тут ка-

кая-то «дикая» немецкая часть зажала нас и держит мертвой хваткой.

Не надо было и разведку посылать, чтобы по-лучить представление о силе противника. В лучах заходящего солнца на горизонте отчетливо вырисо-вывались приземистые громады «тигров». Но вели они себя на удивление пассивно. Ведь стоило им атаковать, и нам пришлось бы туго! Несколько тан-ков да батарея пушек — это все, что мы могли про-тивопоставить большой группе «тигров». Однако немцы обстреливать деревню из пушек обстрелива-ли, а в атаку не шли. Не иначе — побаивались. Куда девалось их бывшее нахальство!

Батальон Хохрякова получил приказ занять обо-рону на северной окраине села. Здесь, наверху, стояло покинутое жителями каменное здание с полу-подвалом. Все танкисты, лишившиеся боевых машин, штаб батальона, техническая служба расположились в нем.

В большой комнате, которую занял штаб, бодр-ствовали офицеры. Все действия на случай боя были оговорены. Лишь время от времени капитан Козлов выходил посмотреть на танки, занявшие оборону не-далеко от дома. Все же немцы, кажется, собирались нас атаковать.

Танкисты устали смертельно. Кое-кто мог бы на-коротке и вздремнуть. Но никому не спалось. Заяд-лый анекдотист, помощник комбата по хозяйствен-ной части лейтенант Максимов начал было «травить баланду», но его вскоре остановил начштаба: «Брось, Максимов, трепаться. Не интересно.

— Эх, мать честная, — прорвалось у капитана Пушкова, — кончится война... Иии... эх!

— Что иии... эх? — поинтересовались мы.

— Да вот думаю, хорошо бы дожить до конца войны.

— Вам, молодежь, легче, — тяжело вздохнув, подал голос Назарец. — А вот нашему брату, у кого дома семеро по лавкам... Как останутся сиротами...

— Ну, это ты, Прокопий Яковлевич, напрасно, — вмешался в разговор комбат. — Горьких сирот у нас не будет. Страна усыновит детей фронтовиков. Я вот вырос в детдоме... — он кротко улыбнулся и продолжал тихо:

— Не нянчила меня мать, не гладил по вихра-стой голове отец, а все же есть у меня родной дом... Детский дом. Родина моя. Эх, не о том бы я печа-лился, что дети останутся без отца. Плохо, когда убьют, а у тебя не осталось наследников. Наследни-ков твоих дел, твоего имени, твоей памяти...

— Что ж ты, Семен Васильевич, — несмело спро-сил Максимов, — до сих пор не женился? Не маль-чишка ведь, уж тридцать...

— Не женился! Когда было? Я и не заметил, как вырос из мальчишки. Окончил ремесленное, пошел в шахту... А тут и служба. С тех пор и закру-тилось. Халхин-Гол... Теперь вот...

— А Аня? — спросил, хитро прищурясь, Пушков.

Комбат застенчиво улыбнулся, на его чуть рябоватом лице появился румянец смущения. И, глядя на него, каждый из нас, наверное, подумал: «Какой видный парень наш комбат!». Черные смоляные волосы послушно лежали на его голове густой шапкой. Лицо было открытое, округлое. Мы знали, что у Семена Хохрякова была в Москве невеста. Наверное, познакомился, когда лежал в госпитале. И мы относились к этому факту с большим уважением. Мы представляли, что это необыкновенно красивая и умная девушка. Иначе и быть не могло — она же невеста нашего командира.

— Смотри, комбат, — шутивно погрозил ему Пушков, — чтоб на свадьбу позвал. Ох, как охота погулять! Захожу я, скажем, в банкетный зал ресторана «Метрополь», — завел капитан мечтательно, — а там в голове длинного-длинного стола сидит с невестой Семен Васильевич Хохряков. Улыбается во все лицо, грудь золотом и серебром орденов отликает. А уж невеста — глаз не оторвешь.

— Ну что же, — ответил улыбаясь Хохряков, — будет свадьба, погуляешь, капитан. И не на одной свадьбе. Смотри, какая гвардия сидит! Все женихи как на подбор. Но сначала надо добыть нам главную невесту — победу. Вот с кем поскорее обвенчаться хочется.

— В старинных песнях, — вдруг снова подал голос Назарец, — все больше поется о том, что добрый молодец венчается со смертью, — сказал и вздохнул.

Все рассмеялись. Это был снисходительный смех. Говорить о смерти и выражать в связи с этим свою озабоченность считалось дурным тоном, проявлением слабости духа. Выждав, Хохряков серьезно ответил:

— Я о смерти не думаю. Это я себе раз навсегда запретил еще на Халхин-Голе. С такими мыслями воевать нельзя. Думать надо о жизни, о том, как провести бой и победить.

Хлопнув дверью, в комнату вошел капитан Козлов.

— Немцы зашевелились, — сообщил он.

Мы посмотрели в окно и увидели, что густой мрак весенней ночи посерел и уже можно было различить во дворе постройки и черноту близкой рощи.

— Я — к танкам, а ты, начштаба, возглавишь пеших, — приказал комбат.

Все, кто мог держать винтовку, стоять, привалясь на сырую стенку окопа, вышли на рубеж обороны, проходящей в пятидесяти метрах от дома. Тут же, чуть в стороне от наших окопов, маскируясь в небольшой группе деревьев, стояли три танка — вся боевая мощь батальона. Хохряков решил поставить их в оборону, поэтому за ночь были вырыты окопы и для них, и теперь у машин лишь чуть виднелись башни да застывшие в напряженном ожидании хоботы пушек.

Бой предстоял не просто за село. Само оно никакого значения ни для нас, ни для немецких войск не имело. Врагу не село нужно было. Он хотел уничтожить попавшие сюда наши ослабевшие части. Может, ему это надо было для поднятия своего духа или чтобы показать нам, что он еще не сломлен. Но даже и в тактическом отношении этот бой ничего не менял. Мы знали: с часу на час, как только наши войска высвободятся от выполнения оперативного плана, сюда направят полнокровную танковую бригаду, и этого будет достаточно, чтобы усмирить немцев. А пока нам надо было держаться.

Фашистские танки двинулись, сжимая кольцо. Они не мчались на нас во весь опор, а шли медленно железной лавой. Только на участок обороны нашего батальона приходилось двенадцать «тигров». Мы уже который раз пересчитывали их, словно от этого что-нибудь могло измениться. Каждый представлял, что силы неравные и уцелеть — шансов почти никаких. Но горстка бойцов человек в пятьдесят, в большинстве вооруженных пистолетами, в лучшем случае автоматами, имея несколько связок гранат, готова была сразиться с танками. Лица солдат посуровели. Одна мысль, одно побуждение словно электрическим током пробежали по нервам и сознанию всех: «Как? Когда немец повсюду бит, он еще собирается над нами верх одержать! Ну, нет!»

А «тигры» меж тем все ближе и ближе. Теперь уже видно, что за ними идет и пехота.

Первыми приняли бой наши танки, они повели из укрытий скорострельную стрельбу из пушек и пулеметов. В ответ «тигры» на ходу тяжело заплывали из своих пушек. Заскрежетали о сталь брони болванки. Перепадало и нам: с жутким подвыванием снаряды пролетали над головой, где-то позади рвались, осколки попадали в окопы, убивали.

Когда «тигры» уже нависли над правым флангом окопов, наши танки выскочили из укрытий и бросились наперерез. Это был короткий, но жестокий, отчаянный бой. Почти сразу были подбиты две «тридцатьчетверки». Их экипажам удалось выскочить и отползти к нам. Лишь один механик-водитель, видно, раненный в глаза, не смог сориентироваться и, выскочив из танка, подался в сторону врага. А когда понял, что не туда идет, поднял кверху кулаки обожженных рук и, потрясая ими в ярости, ринулся навстречу одному из «тигров». Спасти его было невозможно, но и сил не было смотреть, как на безоружного парня наползает, подминает его под себя стальное чудовище...

А тут подбили и третий танк самого комбата. Он еще какое-то время крутился на одной гусенице, стрелял из пушки, но вскоре содрогнулся от нескольких попаданий, враз скособочился и затих. Мы замерли. Проходили долгие секунды, а экипаж не подавал признаков жизни. Кто-то из нас не вытерпел, вылез из окопа и пополз, волоча в руке связку

гранат, к ближайшему «тигру». За ним еще двое, трое поползли... Пока рвались гранаты под гусеницами немецких танков, другие ребята бросились к машине комбата, открыли заклинившую крышку люка, и скоро в окопы один за другим свалились изможденные танкисты.

Но времени ни отдохнуть, ни отдышаться не было. В развороченных снарядами, измятых гусеницами окопах отсиживаться было уже невозможно. Мы стали отбегать во двор, группируясь у дома, потом скатились в овраг. Село заполнили немецкие автоматчики. Все кипело в остервенелом бою. Бросали гранаты, стреляли в упор, схватывались врукопашную... Это уже был бой не за победу, а за то, чтобы

подороже продать свою жизнь. В такие моменты оторвать солдата от врага трудно, почти невозможно, но и необходимо. Обречь батальон на гибель, пусть и героическую, — этого военная обстановка не диктовала. Следовало вывести остатки батальона из неравной схватки.

Комбат призывно кричал: «За мной! За мной!» В меховой куртке, расстегнутой на груди, без шлема, он стоял, размахивая над головой пистолетом. Мы стали пробиваться к нему, а потом вместе вырывались из смертельных объятий врага.

Плотной группой бежали напролом, держа направление к лесу. В эти минуты, казалось, ничто не могло удивить. Но в какое-то мгновение я



увидел лицо комбата и поразился. Нет, оно было не просто страшным в гневе. Это было лицо, высеченное из камня. Ни одна жилка не играла на нем. С таким лицом человек не дрогнет ни в каком бою, человека с таким лицом врагу бесполезно молить о пощаде. Комбат выбрасывал вперед руку, расстреливая в упор появлявшихся на пути немецких солдат, и размеренным шагом бежал дальше.

Уже когда мы вырвались из вражеского кольца, выскочили на опушку леса, то увидели, как мимо нас в село мчатся наши новые танки «ИС», громадные и, как утверждали, с непробиваемой броней.

Мы приветливо помахали им руками. «Ну, будет сейчас немцам», — подумал каждый.

...Мы вышли к Бунцлау. Спокойствие тылового города уже легло на его булыжные мостовые. Бунцлау городок небольшой, вскоре мы оказались на одной из центральных улиц. Тут стоял двухэтажный деревянный дом, в котором умер Кутузов. Возле дома, в кругу повисшей на низких каменных столбиках тяжелой цепи, — памятник полководцу. Было удивительно, непонятно встретить его в логове фашистского зверя. Может, Гитлер хотел и Кутузову подражать, так же, как и Наполеону?

— Ну вот, Михаил Илларионович, — поправляя на себе куртку, весь подтянувшись, проговорил Хохряков, — вот мы и в Германии!

Из дома вышла небольшая группа советских военачальников. Впереди — маршал. Увидев у памятника группу офицеров и солдат, он остановился и, поднося руку к козырьку фуражки, представился:

— Командующий Первым Украинским фронтом маршал Конев.

Мы и без того догадались, кто был перед нами. Но было очень приятно, что маршал не на каком-то параде или официальном приеме, а вот здесь так торжественно и даже несколько церемонно встретил горстку бойцов. Командующий, будто уловив наше настроение, подошел ближе и начал здороваться за руку с теми, кто стоял поближе. Задержал взгляд на Хохрякове. Комбат доложил о себе.

— Знаю, — улыбнулся маршал. — Слышал о Хохрякове.

Конечно, он должен был слышать о нашем комбате. В то время он уже, наверное, подписал представление в Президиум Верховного Совета о награждении Хохрякова второй Золотой Звездой Героя Советского Союза.

— А что же танкисты — пешие? — спросил маршал, хитро щуря глаза.

— Никак нельзя было сохранить, товарищ маршал, бои были очень уж тяжелые, — виноватым голосом доложил Хохряков.

— Ничего, комбат, не тужи. Получите новые машины. — И, снова взяв под козырек, торжественно сказал:

— От имени Военного совета фронта благодарю отважных танкистов за проявленный героизм в беспощадных боях с фашистскими захватчиками!

— Служим Советскому Союзу! — радостно гаркнули мы.

Бунцлау был последним рубежом в Висло-Одерской операции. Можно было подвести итоги недельных боев. С 12 по 18 января 1945 года батальон прошел с боями свыше 200 километров, уничтожил более тысячи вражеских солдат, 8 «тигров» и «пантер», 25 полевых пушек, 180 авто- и бронемашин. А главное, батальон Хохрякова помог решить оперативную задачу армии — войти в прорыв обороны противника, ворваться в его тылы и деморализовать его.

Армию отвели на формирование и пополнение. Снова в батальон приходили новые экипажи, опять дотошно проверял ходовую часть новых танков техник-лейтенант Назарец, опять штаб батальона готовил новые карты. А в начале апреля в бригаду приехал командарм Рыбалко. Собрал офицеров и повел строгий разговор о том, что медленно (медленно!) бригада восстанавливает боевую форму. Суровый был генерал. Не прощал даже мелких ошибок.

И вдруг объявил, что наш комбат отныне дважды Герой Советского Союза, и крепко расцеловал смутившегося Хохрякова.

— Воюй, Семен, — сказал командарм, — и впрямь так же отважно и умело!

Все мы — и ветераны, и новички батальона — от души радовались награде комбата, и лица наши сияли, будто каждому из нас досталась часть комбатовской славы. Впрочем, так оно и было. Ведь не зря мы себя называли хохряковцами.

И вот настал день, когда нам скомандовали: «На Берлин!» Снова наш батальон был передовым отрядом. Снова — безостановочный марш вперед. Вперед — во что бы то ни стало!

...На вторые сутки боев за рекой Нейсе, перед самым утром, батальон попал в засаду. Полуколыцом охватили нас немецкие танки и самоходки. Майор Хохряков успел скомандовать:

— Принимаю бой! Штабная и все другие машины — назад!

Наш «форд», за ним техлетучка, кухня и другие колесные машины враз отскочили от танковой колонны батальона, развертывающейся в боевые порядки. Удалившись от места боя на километр, мы передали по радиации командиру бригады обстановку и, услышав приказ полковника Чугунова «Держаться! Иду на помощь», стали с тревогой наблюдать за жестокой битвой батальона с превосходящими силами противника.

— Может, лучше отойти бы и им? — спросил я капитана Пушкина. Тот ничего не ответил, лишь раздраженно махнул рукой, не отрывая глаз от бинокля. Лицо его покраснело, как обычно бывало,



когда он нервничал, зубы были сжаты, под скулами играли желваки.

— Дрянь дело, — проговорил и обернулся, выматривая: не идет ли подмога? Нет, сзади не было никого.

А тут уже со смертельным шелестом начали пролетать над головой снаряды-болванки. Иные из них падали у машин и с жутким свистом рикошетили.

Конечно же, танкам отходить нельзя. Это мы выскочили, потому что нас прикрывала их броня. А попробуй, развернись они — перещелкают их, словно мишени на стрельбище.

Бессильные чем-нибудь помочь, с болью в сердце мы наблюдали. Уже несколько наших танков горело. Кто-то видел в бинокль машину комбата с номером на башне — 21, кто-то интуитивно угадывал ее... Вон она, яростно крутанувшись, бросилась влево от дороги, навстречу немецким танкам. За ней последовали другие машины.

— Комбат атакует! — прокричал нам из штабной машины радист.

Мы это и сами видели. Замерев в тревоге, ждали, чем все кончится.

А немцы, видать, хорошо подготовились. Их огонь был очень силен. Казалось, что фашистские «тигры» и «пантеры» ухали со злорадством: «Ага! Ага! Попались!» А комбат упорно шел на сближение. И уже пробилась было его машина из вражеского кольца. Но увидел комбат, что другие отстали от него, и повернул назад...

Радист в штабной машине еще раз, последний раз, услышал его команду: «За мной, ребята! Мы их опрокинем!» И еще чей-то натуженный голос прокричал: «Вперед, хохряковцы!»

И в это время танк комбата остановился. «Гусеницы разбило!» — сказал кто-то из нас.

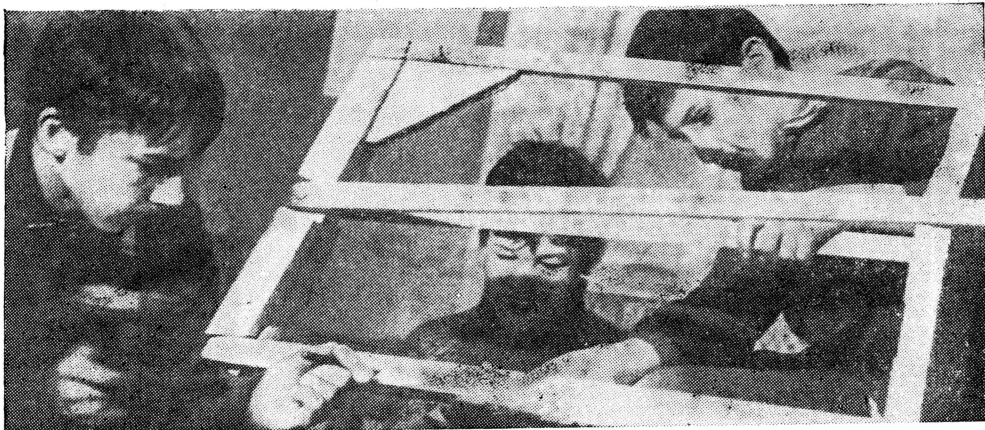
«Ну, все...» — пронеслась одна мысль в наших головах. Посерели лица штабистов, а стоящий рядом со мной Назарец прямо-таки затрясся в нервной дрожи. Вдруг он подбежал к своей летучке, схватил ящик с инструментами и помчался туда, к танкам.

— Куда ты, оглашенный?! — закричал Пушкив. Но Назарец, наверное, уже не слышал. Он бежал ремонтировать танк комбата. Конечно, это было безумие. Один из тысячи шансов остаться в живых, а уж где там натянуть разбитую гусеницу! Назарец и не добежал. Упал. Потом оказалось — контужен.

Из люка комбатовской машины показался кто-то из танкистов. «Комбат!» — признал начштаба. Хохряков высунулся по пояс и, не торопясь, осмотрелся кругом, потом быстрым рывком соскочил на землю. Но тут же упал. Видно, подкосил его осколок снаряда.

С места сорвался Пушкив, кинулся к машине, сам сел за руль и погнал ее к комбату. «И этот безумец!» — сказать бы надо было. Но все, кто успел, заскочили в машину. Я стоял на подножке и затекшими от напряжения руками цеплялся за дверцу. Машину кидало на ухабах, ноги срывались с подножки, но руки цепко держались за дверцу. Вдруг перед носом машины вырос столб огня... Дальше ничего не помню. После товарищи рассказывали, что тяжелораненого комбата положили на жалюзи уцелевшего танка, попытались вывезти. Но тут что-то страшно рвануло, танк вздрогнул, и тело комбата скатилось. Другой экипаж подобрал его. Но майор Хохряков был уже мертв.

...Свежим апрельским утром, наспех перебинтованные, мы прощались со своим комбатом. Его увозили в город Васильков, который и его батальон освобождал. Там комбат обрел вечный покой. А мы спешили на запад. Перед нами уже маячил Берлин, который через две недели был взят.



ПИОНЕРСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ

В Курганском Дворце пионеров имени Коли Мяготина есть заповедное место, где каждая вещь «Лениным дышит». Здесь принимают в пионеры. Сюда приходят как в музей Ленина.

Все, чем богата комната Ленина Курганского Дворца пионеров, сделано руками самих ребят. Дом в Ульяновске, где родился Владимир Ильич, дома, где он жил в ссылках, броневик, с которого Ленин выступил в Петрограде в апреле 1917 года, кабинеты вождя в Смольном и в Кремле, Мавзолей В. И. Ленина...

Мальчишкой пришел во Дворец пионеров В. А. Чебыкин.

В технических кружках научился многому. А после армии он поступил сюда работать — руководителем авиа- и судомодельного кружков. И вот уже 15 лет Владимир Арефьевич преподает курганским пионерам трудолюбие, учит их делать корабли, самолеты, лодки. И не только макеты и модели, а настоящие байдарки, аэросани, мотонарты на гусеничном ходу, планеры...

Каждое лето курганские пионеры отправляются на трех — четырех самодельных моторных лодках в путешествие по Тоболу. По 300—400 км проходят они. А нынче на новых, комфортабельных

лодках они собираются дойти до Тобольска — по воде это около тысячи километров. Кстати, в этих речных путешествиях все пионеры учатся кататься на водных лыжах — тоже самодельных.

Одна из комнат Дворца пионеров превращена сейчас... в ангар. Десятиклассник Сергей Медведчиков с товарищами под руководством В. А. Чебыкина строит здесь дископланер — оригинальный летательный аппарат с круглым, как диск, крылом. Нынче летом эта самоделка поднимется в воздух...

Мастера на все руки, курганские пионеры сами придумывают конструкции лодок, мзшин. И как знать, — не станут ли их изобретения, скажем, мотонарты или дископланер, экспериментальными образцами будущих машин массового производства?

На снимках: С. Гапанюк, В. Москаленко и К. Воскресенский строят байдарку; по Тоболу на лодках, остановка в пути.

А. ПОЛЯКОВ





Фантастический рассказ

Они ушли в ночь. А может быть — в день? Что сейчас за тучами — солнце или звезды? Мухин выпрямился во весь рост, посмотрел вверх, стараясь в крошечной тьме воздушного дна увидеть нижнюю кромку облачного слоя. Он увидел — не тучи, а корабли. «Паллада» и «Тиниус» уходили на запад, ныряя в воздушных течениях. Снизу они казались пляшущими огоньками, блуждающими звездами.

Пора и мне, подумал Мухин. А где остальные — Крюгер и Маневич? Ушли, не видно их, не слышно. Пора и мне... Мухин повторил эти слова, будто хотел к ним привыкнуть. Он не мог сдвинуться с места, потому что с каждой секундой вливался в него новый мир ощущений, звуков, запахов. Ураган крепчал, ветер давил сейчас с силой гидравлического пресса. Рядом неторопливо полз ручей — это была расплавленная пемза, она втекала в трещины почвы и казалась оранжевым деревом с длинной сетью отростков.

Мухин опустил в ручей палец — стало тепло, приятно. Тогда он погрузил в лаву все свои четыре руки и, подталкивая тело ногами, спустился сам. Ручей достигал Мухину до пояса, идти по его течению было легко. Мухин шел, расплескивая лаву, светящиеся брызги летели во все стороны, он набирал их в пригоршню и швырял вверх. Огоньки не падали, ветер подхватывал их, и они еще долго светились в темноте, будто искры от костра.

Вдалеке — Мухин не видел, но угадывал своим локационным чутьем — вставали горы. Каменное крошево, перекатывающееся с места на место. Еще километра четыре, подумал Мухин. Потом ручей свернет, придется остановиться и подумать, как быть с ногами. Запросить у Шаповала программу перестройки. На тренировках все было просто. Даже приятно и любопытно было — управлять своим телом. Здесь... Страшно? Да, наверно... Это может стоить жизни...

Мухин отогнал нелепые мысли. Сейчас — работа. От его, Мухина, успеха зависят семнадцать жизней, а он увлекся, влез в ручей, как мальчишка, вместо того, чтобы вызвать «Палладу», хмурого Годдарда, самоуверенного Шаповала. «Паллада» уже в космосе, время связи.

Мухин сосредоточился, представил себе — он взмывает в воздух, раздвигает его неподатливую толщу, и вот над ним звезды и огни «Паллады»... Ощущил внутренний толчок, понял — есть связь. И тихо, будто не выл ураган, не шипела лава в ручье, не грохотали, перемалываясь, камни, сказал:

— Я Испытатель-два. Иду по трассе...

* * *

Годдарда не оставляло ощущение, что он забыл нечто важное. Он думал об этом, пока «Паллада» пробивала атмосферу Венеры. Корабль шел с трудом, внешне он напоминал батискаф, и Годдард казался себе капитаном дальнего плавания — так и хотелось скомандовать: «Два румба влево, так держать!» Он и готовился к этому — к испытаниям в глубинах Индийского океана. Все планы спутала авария на «Стремительном». Экспедиционный планетолет с экипажем потерял управление над полярной зоной Урана. Связь прервалась сразу, но локаторы еще полчаса вели корабль, погружавшийся в липкую атмосферу планеты-гиганта. Это было неделю назад — люди живы наверняка, хотя и придавлены почти двукратным тяготением. Но спасти их невозможно — ни один корабль еще не пробивал до дна воздушный океан Урана, а там, на дне, нещадные вихри, тепловые взрывы сделали бы поиск мучой, обреченной на провал. И все же шесть дней назад Шаповал объявил: мы найдем корабль! Он, Годдард, протестовал на заседании комитета, выступил в печати и в результате проиграл. Возможно спасти «Стремительный» перевесила его доводы. Комитет разрешил испытательный эксперимент на Венере, и — что совсем плохо — его, Годдарда, назначили начальником опыта. В Комитете ЮНЕСКО по рискованным экспериментам не нашлось генетика опытнее Годдарда.

Авантюра все это. С начала и до конца. Работа Шаповалова по УГС — управляемым генетическим системам — конечно, великолепна, но когда Шаповал объявил год назад, что переходит к опытам с людьми, Годдарда всего передернуло, и это первое чувство отвращения к самой постановке задачи, к той легкости, с которой относятся к работе Шаповал да и сами испытатели, — это чувство осталось. Может быть, притупилось, ушло вглубь, но осталось.

Ах, какие возможности! — говорили о программируемых хромосомах. А он, Годдард, сорок лет жизни отдавший молекулярной генетике, видел здесь прежде всего проблему личности, проблему вовсе не генетическую. Мы научились (слава Шаповалу!) менять человека так, что он способен выжить в любой среде — на океанском дне, в огне пожара и холоде космического пространства. Но варьируется лишь оболочка, тело, внешняя форма. Главное — мозг — остается прежним. И вот истинная проблема: что происходит с внутренним миром испытателя, с его человеческой сущностью? Все очень сложно, работы хватит на много лет, как нехстати эта катастрофа на «Стремительном!» Как нехстати вся эта спешка!

Конечно, если учесть, что времени было в обрез, оборудовали опыт неплохо. Все правила соблюдены: группа следящих планеров, глубинные скафы первой помощи, два планетолета, корректирующие взаимные действия. Сильная медицинская лаборатория.

Непрерывное моделирование ситуации на трассе. Прогноз необходимых трансформаций. Контроль поведения испытателей. Но все это — в космосе. А на Венере, на этой пылающей сковородке — только люди: Мухин, Крюгер, Маневич.

Годдард поднял голову, посмотрел на своих сотрудников. Справа улыбается своей вечной оптимистической улыбкой Александр Шаповал, он даже не смотрит на динамики, уверен, что все три вариатора (слово-то какое придумал — не люди, а вариаторы!) выйдут на связь. Слева Горелов, собранный, спокойный и очень большой для микрокабин «Паллады». Тоже оптимист, мелькнуло в голове Годдарда. Хотел работать у Шаповала, не выдержал тренировок и с тех пор делает вид, что интересуется только пилотажем... Испытатели по вашей части, мистер Годдард. Да, испытатели по его части, и, если сегодня что-нибудь случится в огненном котле Венеры, он, Годдард, будет настаивать, чтобы спасательная на Уран летела без вариаторов. Он, Годдард, будет драться за отмену экспериментов, чтобы и думать о них забыли. Надолго. На сто лет!

Где же связь? Три зеленые искорки на экранах слежения — все три движутся. Годдард почувствовал, что у него заняло под лопаткой: пятая минута, и ничего не сделаешь, пока Мухин или Крюгер, или Маневич сами не позовут их. Кто позовет первым? Маневич? У него бас, низкий, тягучий, как желе, медленно вытекающее из банки. Крюгер — тот говорит взахлеб, его сообщения очень эмоциональны, за него Годдард боится больше всего: не произошло бы срыва. Проще всего с Мухиным. Проще уже потому, что УГС Мухина более совершенна. Почти мгновенная адаптация, даже без вмешательства сознания. И характер у Мухина ровнее. Он не делает ничего нелогичного. И докладывает спокойно, взвешивая слова. Кто из них заговорит первым?..

* * *

У Шаповала болели зубы. Боль была ноющей, Шаповал придерживал щеку ладонью, вымученно улыбался. Хотелось встать, побегать по тесному коридору, но слева надулся Годдард — мрачно смотрит на пульт, будто ждет, что прибор сорвется с мест. Такой уж у Годдарда характер: мрачно делать свое дело и — сомневаться.

Сквозь боль пробились воспоминание — Шаповал уговаривает комитет назначить Годдарда не наблюдателем ЮНЕСКО, а начальником опыта. «Послушайте, неужели вы хотите погубить и эксперимент на Венере, и спасательную к Урану — ведь Годдард против вариаторов!» «Конечно, против, но покажите мне дело, которое Годдард не довел до конца». Он не умеет выбирать темы, ему всегда попадаются гиблые идеи вроде скрещивания пресмыкающихся Земли, Марса и Каллисто. Нет у него научной интуиции. Божьей искры, как говорят. Но зато — железная хватка. После Годдарда любая задача кажется исчерпанной. Классическая школа Эспозито: аспирантуру Годдард проходил в Риме и четыре года изучал генетику какого-то забытого южноамериканского млекопитающего. Лавры его диссертация не стяжала, но терпению Годдард обучился. На всю жизнь. И пусть он против вариаторов — с ним надежнее, чем с этими энтузиастами, которые в критический момент свалят на него, Шаповала, всю ответственность.

Шаповал считал себя профаном в организационных вопросах. «Я ученый, а не организатор», — говорил он с некоторой гордостью. Шаповал занимался наукой, готовил программы для УГС, тренировал испытателей и даже не очень настаивал на вынесе-

нии эксперимента в космос: знал, что не подоспело время, нет подходящей конъюнктуры и большинство в комитете будет против. Очень кстати этот инцидент на Уране! Жизненная необходимость естественно решила множество вопросов: и проведение контрольного опыта на Венере, и подготовку спасательной к Урану, где условия работы будут неизмеримо сложнее.

Нужно спасти людей — и получила путевку в жизнь целая область биологии: биотоковая генетика человека. Идея-то была старой — волевое приспособление организма к любой среде. Лаборатория Шаповала создала управляемые гены, подчиняющиеся биотокам мозга, и эти «пустые», без бита информации, молекулы стали фундаментом открытия.

Опыты на животных. Мышь не понимала, что с ней происходит. Она видела кусок колбасы, у нее текла слюна, мышь хотела есть, хотела настолько, что отождествляла себя с этим куском — жирным, с тонкой кожей. И становилась им. Мышь меняла форму, цвет и минуту-две спустя делалась похожей на невероятный гибрид: полумышь-полуколбаса. Наконец, до ее мышино сознания доходило, что происходит нечто странное, инстинкт страха делал свое дело — мышь становилась мышью.

Потом Шаповал учил обезьян дышать в хлорной атмосфере. Это было трудно, он погубил десятки животных, отчаялся, бросил эксперимент и сел за теорию, а в это время очередная обезьяна поняла, что ей хочется жить, даже если это невозможно. И начала дышать хлором. УГС, повинаясь мощному инстинкту жизни, изменила химизм дыхательного процесса.

В последнем цикле опытов Шаповал учил животных усваивать энергию в любой форме: от солнца и от печи, от тепла внутренних химических процессов и от ближайшего электрического трансформатора. Мыши-вариаторы теперь и смотреть не хотели на колбасу, нежились на солнце и бросались на электроды.

И только тогда, уже в зените славы, Шаповал опубликовал свою первую книгу: «Направленный биотоковый мутагенез с управляемыми генетическими системами (УГС)». Выступил по Европейскому стерео и скромно объявил, что намерен заняться мутационной генетикой человека. Есть желающие?..

Толчок двигателей изменил орбиту «Паллады» — корабль завис в пятистах километрах над трассой. Зубы заняли еще сильнее, и Шаповал, морщась, проглотил таблетку. Вряд ли это поможет: боль чисто нервная и прекратится, как только спадет напряжение эксперимента. Все в порядке. Вот-вот выйдут на связь вариаторы, и он, Шаповал, скажет, улыбаясь, и не будет чувствовать боли:

— Вам должно быть хорошо сейчас...

* * *

Крюгер лежал ничком, распластав свое большое, покрытое корообразной чешуей тело. Ему было плохо. Маневич видел, насколько силен приступ ативазии, но ничем не мог помочь. Эрно Крюгер — человек воли, он должен сам побороть слабость.

Ативазия поражает не тело, а психику. Хочется к морю, плескаться в волнах, вдыхать дым походного костра, и ужас берет, когда видишь свои обрубки-руки, чешую вместо коричневой от летнего загара кожи, мощную выпирающую грудь. Появляются непроизвольные движения. Кажется, вот-вот грубые клешни вольются в горло, стиснутся в неистовой злобе. Накапливаясь, эти ощущения могут привести к психическому срыву, и результат опыта целиком зависит от воли испытателя.

Шаповал, к которому Маневич обратился за инструкцией, так и посоветовал: переждать. «Как только Крюгер очнется,— добавил он,— немедленно выполните команды внешних изменений».

Крюгер перевернулся на спину, две пары рук подогнулись, резко толкнули корпус вверх.

— Плохо,— сказал он.— Отсидеться. Ветер. Мешает сосредоточиться. Сверлит. Не тело. Решето...

— Не двигайся,— приказал Маневич.— Я поищу какую-нибудь берлогу.

Крепкие когти легко вспарывали пористый слой туфа. Маневич старался не думать, какие у него руки. Они неспособны держать карандаш, нажимать на клавиши вычислителя. Годятся лишь для того, чтобы рыть землю, бросать тяжелые камни. Жесткие панцирные пластины на ладонях, которые Маневич отрастил по указанию Шаповала, удобны, но до жути непривычны, не сразу и сообразишь, как с ними управляться. Руки сами по себе, мозг сам по себе. Хоть вызывай «Палладу» и задавай риторический вопрос: скажите, а что, если я согну эту штуку в локте?..

Маневичу показалось, что он нашел то, что искал. Прохлада исходила из глубины ноздреватого грунта. Когти лягнули по твердой поверхности камня.

Камень был угловатым и тяжелым. Маневич с трудом перевернул его, подталкивая ногами. Обнажилось овальное отверстие, грязно-коричневым фонтаном ударили серные пары. Маневич крикнул, пещера отозвалась гулким эхом.

Неглубоко, подумал Маневич. Хорошее укрытие. Инструкция не позволяла лазить в пещеры, где затруднена связь с кораблем, и Маневич вызвал Годдарда. Ответа он ждать не стал. Некогда. Крюгер должен отдохнуть. Все переговоры, вопросы и указания — потом.

Ход, сужаясь, вел вниз под большим углом. Сверху сыпались мелкие камни. Маневич полз медленно, упираясь в стены лаза обеими парами рук. Ход изогнулся уступом, внизу, изрезанная огненными трещинами, текла подземная река расплавленной пемзы.

Придется возвращаться, подумал Маневич. Это опасно. Шаповал сейчас прогнозирует варианты на машине, он должен выдать надежные указания. Но сверху навалился всей тяжестью Крюгер, и оба, потеряв опору, кубарем скатились вниз.

Маневич уложил Крюгера на берегу ручья, и тот сразу забылся. Нижняя гигантская губа слегка отвисла, обнажив беззубые десны.

Тепло лавового потока освещало пещеру мерцающим инфракрасным сиянием. Корообразные наросты на стенах напоминали извивающихся змей, готовых броситься, ужалить, едва кто-нибудь неосторожным возгласом нарушит их каменную неподвижность. В видимом диапазоне ручей почти не светился, и абсолютный мрак нарушался лишь редкими вспышками в глубине пещеры, далеко по течению ручья.

Маневич услышал тяжелый всплеск, поскользнулся и едва не упал. То, что он увидел, заставило его в страхе прижаться к шершавой поверхности скалы и инстинктивно выставить вперед острые стальные когти сильных рук.

* * *

— Еще пять минут,— сказал Годдард,— и я посажу планеры.

Связи не было полчаса. Крюгер и Маневич замолчали неожиданно, посреди сеанса. Сигнал не ис-



чез, но стал слабым, будто шел сквозь метры плотной породы. Мухин передавал, что у него все отлично, предлагал изменить маршрут, пойти к товарищам. Годдард сухо сказал: «Выполняйте свою программу». Мухин отключился и с тех пор давал только сигналы «порядка», не выходя на звуковую передачу. Обиделся, подумал Шаповал, и это чисто человеческое чувство Мухина доставило ему больше удовольствия, чем все предыдущие сообщения — бодрые, но не слишком эмоциональные.

— Четыре минуты, — объявил Годдард. — Готовы программы захвата?

— На выдаче, — буркнул Шаповал.

«Тиниус» был уже на низкой орбите, готовый корректировать посадку планеров. Шаповал морщился, ерзал в кресле, но молчал. Здесь командовал не он — Годдард решал, как вести и когда прервать опыт, и от этого решения зависела не только судьба «Стремительного» со всем экипажем, но, в конечном счете, будущее целой науки. Шаповал не побоялся бы даже сказать — будущее человечества. Обязанности Шаповала на «Палладе» определены четко: связь с испытателями, машинное прогнозирование их поведения и трансформаций, выдача указаний. В сложных условиях испытания вариаторы, особенно Маневич с Крюгером, не обладавшие совершенными мухинскими УГС, не сразу могли нащупать, с чего начинать перестройку тел, что изменять в первую очередь, как выдержать нужные пропорции, какой облик наиболее целесообразен в конкретной ситуации. Все это решал Шаповал. Сейчас ему ничего не оставалось, как слушать эфир, грохот, треск, выживать далекие голоса. Отсиживаются, успокаивал он себя. Ничто внешнее не помешает Крюгеру с Маневичем дойти до цели. Да и цель-то: прийти по Венере сто пять километров заданного маршрута, пройти и выжить. На Уране будет труднее — место посадки «Стремительного» известно с точностью до ста километров, и весь этот район вариаторам придется прочесывать без надежды на помощь извне. К отлету на Уран готовятся пятеро — гордость Шаповала, отличные ребята. Что может помешать им?

Не хватит внутренних сил? Организм, раздраемый самым жестоким противоречием: произвольная оболочка, принципиально новые ощущения — и психика обыкновенного человека. Мозг обретает новые функции, он вынужден реагировать на радиацию. Он получает способность вести мысленную радиопередачу. Может оценивать температуру с точностью до десятой градуса. Непривычные сигналы поступают в мозг нарастающей лавиной. Тренировка тренировок, но психика может и не выдержать напряжения. Ативазия, чертова ативазия! Только не это, недавняя картина на полигоне: Маневич катается по траве, на глазах меняет облик, мелькают руки — сколько их? Десять, сто? Крик. Рычание...

Шаповал дергает головой. Кабина планетолета подпрыгивает, Годдард монотонно бормочет в микрофон. Годдард смотрит на часы: сейчас все кончится.

Серая мгла на экранах надвинулась, заклоубилась — планеры вошли в тропосферу. И тут Шаповал понял: что-то изменилось. Он не сразу осознал — из динамиков, перекрывая рев урагана, несется песня. Старая песня моряков, любимая песня Крюгера.

Вдали сияет Южный Крест,
И пена за кормой...

Крюгер даже не пел, а кричал слова — радостно, почти в экстазе. «Тиниус» давал пеленг, и Горелов вел планеры к поверхности.

— Переходим на низкую орбиту, — сказал Год-

дард. — Нельзя допустить опасности для людей там, на Венере.

Ну, для них опасность невелика, усмехнулся Шаповал. А мы разобьемся в этом хаосе. И бог с вами, Годдард. Сейчас можно и разбиться, когда внизу все хорошо, все в порядке. Крюгер допоеет свою песню и ответит, и тогда он, Шаповал, скажет, наконец, свою давно заготовленную фразу:

— Вам должно быть хорошо там, друзья!

* * *

Маневич готовился к бою. Тремя руками он вцепился в шершавую стену пещеры, четвертую протянул вперед, наспех вырачивая на ее конце длинную иглу. Воздух был перенасыщен парами. Он густел, отваливался клочьями, будто птицы падали с потолка, окунаясь с шипением в податливую огненную жижу. Но то, что наползало снизу, не было воздухом — плоское существо, тяжело ухавшее на ходу, передвигавшееся толчками едва различимых коротких ножек, — продукт адской эволюции, сплюснутый сотнями атмосфер и градусов.

Маневич оттолкнулся от стены, свалился на колыхающую спину венерианского животного, вонзил в нее когти, издал победный клич и ужаснулся эху, которое обрушилось на него со всех сторон. Оно же не видело нас, вдруг сообразил Маневич. Оно шло своей дорогой. Стыдно... Он подумал, что раньше не бросился бы первым даже при смертельной опасности.

От жгучей боли животное стало похоже на измятый грубыми руками бумажный лист. Оно что-то шептало, бормотало невнятно, и Маневич попытался повторить этот свист-шепот. Но его гортань не была приспособлена для слишком высоких звуков, и Маневич заставил горло сузиться. Стало труднее дышать, углекислый газ проходил теперь через слишком узкое отверстие и не успевал разлагаться. Маневич подумал, что может задохнуться. Он вообразил, что у него две гортани, и ощутил, как послушно напряглись мышцы шеи. Повинуясь приказу мозга, программируемые хромосомы выработали управляющий сигнал. Распались клетки, образуя новые соединения. Пришло томление перестройки, когда новые ощущения не полностью усваиваются сознанием и кажется, что внешний мир погружается в зыбкую дымку.

Чувство слабости исчезло быстро. Теперь у Маневича было две гортани, и он смог ответить этому существу, которое корчило у стены. Он свистнул в том же диапазоне и погладил ругера (Маневич не знал, откуда выплыло в его сознании это слово, но тут же окрестил им первое живое существо на Венере), и тот затих и лежал теперь спокойно, слившись с поверхностью пещеры. Из серой тьмы приблизились такие же существа, Маневич ощутил их крики и с удовлетворением подумал, что он не одинок здесь и будет кому прийти на помощь, если...

Он не додумал этой мысли. Здесь, у уступа, лежал человек. Такой же, как он. С Земли. Они шли вместе. А теперь его нет. Он был болен и отдыхал. Крюгер.

Крюгер!

Маневич крикнул это имя в мыслях и голосом, не получил ответа и ринулся наверх по узкому лазу. Сверху бил ураган, будто струя газов из дюз ракеты. Там, наверху, буря. Ветер, способный измельчить гору, скорость его иногда превышает скорость звука в этой сверхплотной и сверхгорячей атмосфере. Маневич карабкался, инстинктивно отталкиваясь от стен укорачивающимися руками, а воля была

стиснута в комок — он думал только о том, что на поверхность должен выкатиться шаром, защищенным от любого урагана, тайфуна, смерча и прочей напасти. Опять пришла слабость, но теперь Маневич не мог поддаться ей, переждать, пока мозг освоится с новой оболочкой.

Лаз расширился настолько, что Маневич перестал чувствовать опору. Он рванулся, собрав всю накопленную в мышцах энергию, и вылетел наружу.

Крюгера он увидел сразу. Эрн держался за глыбу, которая медленно выворачивалась из земли. Крюгер пел. У него было совершенно ошалевшее от радости лицо, волосы клоками сбились на лоб и металлись по ветру. «Уродство», — подумал Маневич и оборвал себя. Эрн становится человеком. Какое это невероятное напряжение — преодолеть сопротивление организма, пытающегося сохранить оптимальные формы...

Уже исчезла у Крюгера вторая пара рук. Тонкие пальцы скользили по поверхности камня, срываясь, раздираясь в кровь...

Оцепенение прошло. Маневич закричал. Он кричал дико, изображая смертельный ужас перед несущейся опасностью. Он представлял, как лавина сжиженного металла обрушивается из-за скал, он борется, но металл слишком горяч, кипит, плавит все, испаряет. Нет сил сопротивляться, одна надежда — Крюгер. Где этот чертов Крюгер, почему не поможет отодвинуть гору... Уходит сознание. Эксперимент... «Стремительный»...

Его волокли куда-то по наклонному ходу. Еще не перестав изображать страдание, Маневич ощутил огромный прилив радости. Жив! Крюгер бесформенной глыбой копошился рядом, в нем не было уже ничего человеческого, все целесообразно и остроумно — вот ведь какие шары себе для ползания отработил, чертяка! А поодаль — вприпрыжку, ползком, вперевалку — суетились ругеры. Крюгер беспокойно замахал шарями-конечностями, и Маневич сказал:

— Это же ругеры...

Крюгер понял. Он опустился на землю, присосался к стене, отдыхал. Маневич подумал о Шаповале и полез наверх.

— Ты что? — спросил Крюгер.

— Связь, — коротко объяснил Маневич. Он полз на поверхность, и сразу два голоса забились в сознании, перебивая друг друга. Маневич не слушал, что они говорят, он настроил мозг на передачу и сказал громко, а ветер разнес его слова, отразив от скал, камней, лавы, урагана и самого неба:

— Нам очень хорошо сейчас, Шаповал...

* * *

Мухин размечтался. Он прошел больше половины пути, времени было достаточно. Ему, в общем, повезло: горную цепь он миновал по руслу лавового ручья. Он шел, уже по шею погружившись в поток, течение подталкивало его в спину, медленно качало из стороны в сторону. Иногда он ложился на поверхность лавы, шевелил ногами, ловил пузырьки газа и плыл — как плот по реке. После недавнего урагана атмосфера была густой, пыльной, видно было плохо, что в оптике, что в инфрасвете, и Мухин ориентировался больше на слух. Слышно было многое: тихий шелест песчаной струи, стекавшей с близкой вершины, мягкие всплески лопающихся в лаве пузырьков, скрип камней о дно потока и где-то впереди — монотонный гул. Ручей доходил до уступа и срывался на несколько метров вниз. Там, должно быть, растекалось густое озерцо, в котором не так горячо, как здесь. Лава текла медленно. Мухин не торопился. Лежал, думал.

5*

Дышать легко, углекислота приятно щекочет горло, и запах кажется не таким прогорклым, как вначале, — есть в нем своеобразный аромат. Тело совершенно, и что бы ни захотел Мухин, управляющие гены поддержат его. Захочу — и стану волком. А захочу — камнем лежачим. Конечно, если случится то, что с Крюгером... На Венере Шаповал успеет принять меры, поднять на борт, а если приступ начнется у ребят там, на Уране... Ативазия. Мухин услышал это слово год назад. Он был последним в группе. Все уже тренировались, а Мухин проходил комиссию. Ему казалось, что он неизлечимо болен, — его изучали раз десять, и Шаповал удрученно качал головой. А потом Мухин случайно узнал — дело не в нем, а в его матери. Крюгер был сиротой, отец Маневича — известный астрофизик, открывший коллапсар в системе Проциона, — не возражал против выбора сына. С Мухиным было хуже. Мать и слышать не хотела о вариаторах, страшилась всего, связанного с Шаповалом. Бог знает, что наговорили ей об испытателях. И будто они, раз изменившись, не вернутся к человеческому облику, и будто у них атрофируются лучшие стремления, и так далее и тому подобное. В общем — жертвы науки... Мать верила, и Шаповал медлил. Потом она согласилась. Что Шаповал сказал ей, Мухин не знал, но она перестала возражать.

Мухин легко перенес операцию и начал тренировки позже всех.

— Вы будете самым совершенным среди вариаторов, — сказал ему Шаповал. — Ваша УГС-2 рассчитана на максимальную автономию. Отсюда — меньше сознательных усилий при перестройке, больше времени для исследований.

Мухин увлекся теорией, написал несколько статей о возможностях модифицированных УГС. Делал сообщение о работе в Комитете ЮНЕСКО. Годдард сидел тогда в первом ряду и смотрел то ли с сожалением, то ли с каким-то скрытым упреком.

— Вы надеетесь создать информационно идеальное существо, — сказал тогда Годдард недружелюбно. — Идеально динамичное, идеально устойчивое, идеально долговечное. А нужно создавать идеально счастливое...

До чего он ортодоксален, подумал Мухин. Годдард просто стар для того, чтобы понять: человек полностью использовал силу своего духа. Мысль может все — создавать шедевры живописи и проекты изумительных по легкости конструкций. Можно развить фантазию системой упражнений и предвидеть будущие открытия. И при этом не иметь никакой власти над собой. Заболела нога — иди к врачу. Хочешь на дно морское — надевай акваланг. Пробежал марафонскую дистанцию — лежи, высунув язык, и думай о несовершенстве тела... Идея Шаповала в этом смысле гениальна, и Мухину невероятно повезло, что выбрали его.

Для тренировок приспособили полигон химкомбината, и Мухин гулял несколько суток по не очень уютной камере, дышал то хлором, то серой, то парами свинца. Перестраиваться нужно было в считанные минуты, Шаповал с каждым днем все чаще менял атмосферу, и Мухин едва успевал фиксировать свои ощущения. Выйдя из камеры, он удивил Шаповала, поморщившись и заявив, что у них тут неприятно пахнет. И как они выдерживают?

— Очень свежо, — сказал Шаповал. — Видите, гроза.

Мухин видел. И вспоминал. В хлорной атмосфере дышалось легче. Приходилось качать через легкие огромное количество воздуха, и каждая его молекула неуловимо пахла чем-то с детства знако-

мым: парным молоком (до смерти отца Мухины жили в деревне) или очень свежим хлебом, когда он еще горяч и корка хрустит на зубах...

Качественно мозг не менялся, но Мухин чувствовал, что недавние увлечения не трогают его. Он и теперь слушал Моцарта, смотрел картины Врубеля, стучал на старом отцовском пианино, но хотел большего. В Моцарте ему не доставало свежести гармоний, не хватало прозрачности. Врубель писал слишком уж прямолинейно, будто школьник на уроке композиции. А пианино издавало столько фальшивых обертонов, что Мухин приходил в отчаяние. Попробовал писать музыку сам, но был, как ему казалось, бездарен. Один лишь Шаповал слушал его опусы без содрогания, а Мишка Орлов, один из ребят, которые ждут сейчас на Луне-Главной старта к Урану, как-то сказал:

— Неплохо, но ты слишком торопишься. Хочешь рассказать в мелодии о том, чего и сам еще не понимаешь. Мы, вариаторы, испытываем совершенно новые ощущения, и мозг должен не только привыкнуть к ним, нужно еще выработать какие-то символы для этих ощущений. А ты пытаешься свести все к обычным звукам...

Ручей сделал резкий поворот, и Мухина прибило к берегу. Он вылез на рыхлую почву, лег, положив под голову верхнюю пару рук. В небе что-то неуловимо изменилось. Будто дуновение пронеслось под кромкой туч. Закружилось тихим звоном, рассыпалось у ног Мухина.

Из блеклой жижи облаков вынырнули легкие прозрачные полотнища. Мухин понял: они вообще не видны в оптике, отражают далекий инфрасвет, что-то рядом с радиоволнами. Я должен увидеть, подумал Мухин, и тело послушно отозвалось, горы погрузились в дымку, а ручей запылал, освещая своим теплом полнеба. Полотнища высветились ярко, будто вспыхнула бумага и загорелась, съезжаясь и потрескивая. Яркие листы легко планировали к земле и снова взмывали под облака, распрямлялись в тонкий блин и сморщивались, отталкиваясь от воздушных уплотнений.

«Могу ли я,— подумал Мухин,— вот так же, в воздух?.. Отращу крылья. Прилечу к «Палладе», уцеплюсь за антенну и скажу: «Здравствуйте, Шаповал! Добро пожаловать на нашу планету»... Трасса,— вспомнил Мухин.— Дойти до отметки, закончить эксперимент, чтобы немедленно стартовала спасательная к Урану,— дорог каждый час. А потом — хоть на край света, хоть птицей, хоть гадом ползучим. Доказать, что Венера — бурная, горячая, живая от центра до заоблачной пустоты,— эта планета — наша...»

Птицы-листы, смяв хоровод, унеслись вверх. Они летели к западу, строй их изгибался волнистой линией, а тела теряли прозрачность, впитывая горячую воздушную волну, набираясь сил, чтобы взмыти высоко за тучи, в космос.

Мухин пошел вперед. Ориентир был перед ним — далекий пик, который еще не успели разрушить ураганы, не источили лавовые потоки. Оттуда и полечу, подумал Мухин. Он шел и смотрел вокруг, чувствуя себя хозяином на этой планете, зная, что работы здесь хватит на сотни лет: узнать все, что таят недра, перегородить лавовые реки, построить воздушно-приливные энергостанции, разгладить складки коры для земных планетолетов. Возвести города. И пойти к центру. Это прекрасная планета — Венера, дом, где он хозяин.

А над восточным горизонтом поднялись в воздух первые столбы пыли — предвестники землетрясения. Первые пузыри вырвались из лавы, лопнули

с шипящим треском. И первые подрагивания коры заставили камни с берегов с клокочущим всплеском упасть в ручей...

* * *

— Любуйтесь, товарищи топографы,— сказал Маневич.

Пик Лассалья — конечная точка маршрута — воткнулся в тучи своей скрюченной вершиной, он был совсем рядом: два-три километра. Два-три бесконечных километра, потому что путь оказался перерезанным отвесной трещиной. Край ее уступом нависал над сотнями метров пустоты. Площадка, на которую выкатились Маневич с Крюгером, дрожала от внутренних напряжений. Пропасть тянулась далеко в обе стороны, у горизонта края ее были приподняты рефракцией, и, казалось, эта угрюмая дыра тянется в самое небо, чтобы и там раскинуться пурпурным провалом.

— Восемьсот сорок метров глубины. Тридцать два — в ширину. Температура повышается с глубиной до тысяч восьмисот. Давление — до двухсот атмосфер...

Крюгер скрипучим голосом выдал эти данные и замолчал. Он молчал от самой пещеры. Эмоциональный срыв. После приступа ативазии можно ожидать и не такого. Шаповал посоветовал уменьшить количество внешних рецепторов, чтобы ограничить сигналы, идущие в мозг, и уменьшить напряжение. С каждым километром тело Крюгера становилось все больше похожим на шар. В конце концов с «Паллады» поступила программа: поместить мозг в центр и растворить конечности. Теперь Крюгер стал просто гладким шаром, почти без нервных окончаний, и шар этот катился равнодушно вслед за Маневичем.

С трещиной локаторы сплеховали. А может быть, Шаповал намеренно скрыл эту деталь эксперимента — с него станет: на Уране, мол, через несколько дней ребятам будет потруднее. Маневич настроился на связь, сообщил о препятствии.

Шаповал о трещине уже знал. Локаторы планетов не дооценили ее ширины, определили ее в несколько метров, да и теперь дают столько же. На экране видны и Крюгер с Маневичем, и трещина эта — тонкая полоска. Тридцать два метра, говорят?

Шаповал помолчал и сказал:

— Ищите обход. Даю час. Если не найдете, снимем с трассы.

Маневич отлично представлял, какое сейчас у Шаповала лицо. Километр до финиша. Прекратить эксперимент хочет, конечно, Годдард. Ему нет дела до вариаторов, да и спасение «Стремительного», в конечном счете, не его забота. Закончить благополучно этот опыт, который ему навязали против воли. Годдард может приказать, и Шаповал не имеет права не подчиниться.

— Ищу обход,— сказал Маневич.

Он не думал искать обход. Сейчас мог помешать только Крюгер, но в крайнем случае Эрн он перенесет сам. Над трещиной зона повышенного давления. Атмосфер на пять — выдавливающая сила довольно велика. Не нужно счетных машин «Паллады», чтобы подсчитать это. И не нужно счетных машин, чтобы понять: если получится сейчас, то на Уране в его почти жидкой атмосфере ребята смогут парить, как птицы. Отлично. Сосредоточиться.

Маневич «растворил» свои руки. Впервые он действовал сегодня без подсказки, и сомнение в том, правильно ли он ведет вариацию, на какое-то мгновение мелькнуло в сознании. Но УГС безупречно повиновалась командам, и Маневич легкими толчками заставил мозг переместиться в глубь тела. Появилось и быстро исчезло неприятное режущее ощущение — будто острые ножи входили в каждую клеточку, отделяя ее от других. Маневич создавал в себе воздушные каналы и чувствовал, как земля уходит вниз, как все легче становится тело,— он стал похож на пористый губчатый шар, почти невесомый, готовый при малейшем толчке покатиться, высоко подпрыгивая.

— Я вернусь,— передал он Крюгеру и, приревнившись, оттолкнулся.

Открылась бездна — в ней бурлила, кипела базальтовая жижа, тянуло раскаленным воздухом, жар проникал в поры незащищенного тела, обжигал мозг, и Маневич усилием воли прогнал боль. Тренировки сказались: Маневич рассчитал верно. Восходящий поток поддерживал его над трещиной. Воздух оказался пропитан парами радиоактивных элементов, и Маневич рванулся вперед, подобно реактивному снаряду. Он скорее почувствовал, чем увидел, как удаляется берег, услышал беспокойный возглас Шаповала — локаторы, конечно, раскрыли его маневр.

Радиоактивная пыль по многочисленным воздушным каналам проникала к мозгу, и Маневич забеспокоился — будет не так просто изгнать эту разлагающуюся отравленную массу. Он с силой выбросил из пор струю воздуха, его легко толкнуло вперед, а потом он неожиданно почувствовал под собой пустоту и начал планировать к центру трещины. Маневич подумал, что вышел из восходящего потока, и еще раз рванулся. Падение продолжалось — Маневич уже видел на одном уровне с собой край пропасти.

Он тонул и понимал, что никто не успеет прийти на помощь — ни планеры-разведчики, ни Крюгер, серым равнодушным шаром перекачивающийся там, наверху.

Стенки трещины отливали бирюзой необычайно тонкого оттенка, и воздушные потоки с вкраплениями пыли будто рисовали на них темными тонами рельефные непонятные картины.

Гулко ухнуло внизу, полетели камни, а Маневич отмечал: тысяча двести, тысяча триста, тысяча четыреста градусов... Восемьсот, восемьсот двадцать, восемьсот сорок рентген в секунду... Давление не возрастало, и Маневич падал. Он увеличил площадь тела, стал похож на плоский лист с утолщением в центре — мозг приходилось защищать многими слоями жаропрочной органики, и теперь именно мозг, перевешивая подъемную силу, тянул вниз. Острые иголки впились в каждую клетку — радиация превысила защитный предел. Все, подумал Маневич, и забарахтался, отчаянно, изо всех уходящих сил.

До дна оставалось метров пятьдесят, когда падение прекратилось и Маневич неподвижно повис над лавой, поддерживаемый новым восходящим потоком. Теперь это уже не имело значения, только продлеvalo боль, потому что поток нес огромные количества радиоактивной пыли.

Не вышло, подумал Маневич и ускользящим сознанием успел отметить пикирующие сверху раскаленные камни...

* * *

Разведчик прошел на малой высоте и показал в рыжих клочьях помех бурлящее бесформенное ме-

сиво. Маневич не отзывался, а Крюгер меланхолично сообщил, что Испытатель-три перелетает на другой край трещины и вскоре вернется. Может быть, именно это неуместное спокойствие, а может быть, весь изматывающий ритм перехода и сильнейшая зубная боль доконали Шаповала. Он кричал на Крюгера за нарушение инструкций, кричал на Годдарда, потому что тот молча следил за полетом планеров. И кричал на себя. Это он, Шаповал, заявил, что вариаторы могут отыскать «Стремительный», самонадеянный осел, это он потребовал, воспользовавшись случаем, пробного эксперимента на Венере, а потом ушел в кусты, решил руководить за чужой спиной, свалить все на Годдарда и ЮНЕСКО, и теперь он, Шаповал, ответит, если Маневича не спасут. И это на его, Шаповала, совести останется гибель людей со «Стремительного». Комитет запретит работы — и поделом! И вообще, он, Шаповал, ни при чем, потому что маршрут выбирали специалисты, и кто подsunул ему испытателей, для которых не существует дисциплина?!

Годдард молчал, морщился и опускал планеры все ниже. На пятнистом инфракрасном экране он видел край трещины и Крюгера — Годдард знал, что этот шар и есть сейчас Крюгер. Планеры начало трясти, и Годдард разделил управление. Горелов повел одну из машин над трещиной, то и дело зависая и прошупывая кипящие недра, а второй планер Годдард попытался опустить рядом с Крюгером.

— Скорее! — торопил над ухом Шаповал.

Годдард, не оборачиваясь, сказал: «Молчать!» — и Шаповал притих. Годдард затылком ощущал его прерывистое дыхание.

В трех метрах от поверхности он выпустил манипуляторы и спросил Крюгера: готов ли он к поднятию на борт?

Крюгер промолчал, Годдарду показалось, что он и не слышал вопроса.

— Приказываю на борт! — сказал Годдард, насколько не уверенный в действенности своих слов. Боковым зрением он видел, как второй планер, клюнув носом, зарылся в горячий воздушный поток, как вспухли на экране скалы. Машину швырнуло к трещине, и Горелов отдал команду на вывод резерва.

А ведь я ничего не сделаю с Крюгером, подумал Годдард. Никакие мои приказы не помогут, потому что внизу хозяева — испытатели. Найти Маневича! Годдард только сейчас подумал, что может и не найти его. Опускать аппарат в трещину — верная гибель, нужно выводить тяжелый скаф, а он малоподвижен. И похоже, что Крюгер не захочет возвращаться без товарища.

Годдард выдвинул захваты, но планер все время сносило, лишь в какое-то мгновение машина прошла точно над Крюгером, автоматика сработала, и Испытатель-один закачался в сетях манипуляторов.

— Возврат! — сказал Годдард, передал планер операторам с «Тиниуса» и повернулся к экрану Горелова. С Крюгером все. Через несколько минут он будет на борту. Шок, депрессия, что угодно, но он жив.

Горелов ухитрился посадить свой планер на небольшой уступ, нависший над трещиной. По дрожащему изображению чувствовалось, что уступ вот-вот сорвется.

— Скаф! — сказал Годдард.

Исследовательский аппарат был прочен и мал. В лучшем случае они могли увидеть Маневича, связаться с ним. Скаф взметнулся в воздух, описал дугу и покатился вниз, дружина и подпрыгивая на неровностях стенок. На обзорных экранах что-то

наметилось в глубине. Множество темных дисков. Они всплывали, как пузыри газа, неторопливо, по прихотливой ломаной линии. И прежде чем Готдард успел понять, Шаповал крикнул:

— Третий!

Диски вынесли к поверхности желеобразное пористое тело, оно мерно колыхалось, и каждое его движение отдавалось свистом и стуком в ушах Готдарда. Горелов повел планер вдоль кромки пропасти, не выпуская Маневича из поля зрения локаторов. Он успел вовремя. Едва диски оказались в радиусе захвата, вскинулись щупальца, натянулась сеть, диски бросились врассыпную, но два из них барахтались в захватах, а тело Маневича неподвижно легло на дно сети.

— Вверх! — нервно выкрикнул Шаповал. — Маневич ответит за своеволие!

«Шаповал в своем репертуаре», — подумал Готдард. — Опасность миновала, и Александр уже распоряжается. До следующего ЧП. А ведь они все-таки дошли: Маневич и Крюгер. И живы. Может быть, для большего спокойствия снять с трассы и Мухина?» Готдард потянулся к микрофону, и в это время с «Тиниуса» сообщили:

— Планер-второй замолчал. Мухина не вижу. В диапазоне связи пусто.

Готдард встал, предчувствуя, что все только начинается. Тихо ойкнул Шаповал, а из брюха «Тиниуса» вывалился последний резервный планер.

* * *

К концу вторых суток поисков у них не осталось машин. Когда экран вспыхнул сиреневым светом взрыва и в рубке после двухдневного рева бури стало тихо, Готдард потерял сознание. Бессонница, напряжение. Мухина нет. Мощный подземный выброс разметал в пыль весь район, горный кряж за какие-то секунды превратился в низину, куда с шипением обрушивались тысячи кубометров лавы. Озеро быстро наполнялось. Только одно и оставалось сделать в память о Мухине — назвать новое недолговечное озеро его именем.

Готдард был без сознания мгновение — никто не заметил его слабости. Он заставил успокоиться дрожавшие руки и отдал приказ, который по всем нормам должен был прозвучать еще сутки назад:

— Курс к Земле!

Он немного поел, не отходя от пульта, и слабость отступила. Неторопливо, тщательно подбирая слова, Готдард заполнил бортовой журнал. Он с трудом добрался до страницы «Выводы руководителя».

Выводы.

Готдард встал и, шатаясь, пошел из рубки. Не хочу я делать выводы, думал он. Кто я такой, чтобы делать выводы? Начальник опыта? Сидел в удобном кресле и глядел, как выкладываются люди, как готовы они поступиться всем ради идеи, которую он, Готдард, не понимал и теперь не понимает. Всемогущество. Но вот всемогущий из всемогущих — Мухин, мечтательный краснолицый Мухин, — где он?

А я должен решать. Судьбу вариаторов, всей нарождающейся науки — мутационной генетики. И судьбу людей со «Стремительного», которых теперь, без помощи шаповаловских ребят, наверняка не успеют найти. И все же, если по совести, должен написать «нет». Думать нужно не о тех семнадцати, что ждут помощи на Уране. Нужно думать о будущем. Запретить все это. Человеку — человеку.

Готдард вошел в медотсек и увидел Шаповала. Тот был бледен, щеки его ввалились.

— Летим к Земле, — сказал Готдард. Он хотел добавить, что потерял последний планер, что идти к «Венере-верхней», искусственному спутнику на высокой орбите, нет смысла, но промолчал, потому что лицо Шаповала неожиданно исказилось.

— Вы уверены, что искать бесполезно? — тихо спросил Маневич, и Готдард только теперь увидел обоих испытателей. Они лежали на диагностических кроватях, как личинки в коконах, видны были только лица и руки. Лица как лица. Часы испытаний не изменили их. Лишь теперь Готдард подумал, что открытие Шаповала действительно великопно. Любуй другой человек после всего, что выпало Крюгеру с Маневичем, был бы похож на монумент Коцею Бессмертному.

— Нам нечем искать, — признался Готдард. — Нет планеров.

— Это Венера, Готдард, — просто сказал Маневич.

Будто гордится, подумал Готдард. Будто Венера — его родина и прожил он здесь не сутки, а всю жизнь, и рад, что планета оправдала надежды.

— Скажите, Готдард, — Маневич медлил, подбирая слова. — Скажите, там, на «Стремительном»... Для них все кончено?

— Как ваша голова, Маневич? — спросил Готдард.

— Вы о радиации? Я не излучаю, можете подойти ближе.

— А что хромосомные пробы?

— Спросите Александра, — сухо сказал Маневич. — Вижу, Готдард, ваше решение твердо.

— Да, — сказал Готдард, — я решил.

Будто мое решение что-то значит, подумал он. Придется драться, чтобы выгородить Шаповала и чтобы не докучали вопросами Крюгеру, иначе может повториться припадок. Анализировать видеogramмы с планеров и доказывать, что предел выживаемости у людей оказался выше, чем у техники. Вот только Мухин... Как ни парадоксально, он стал жертвой собственного совершенства. Эти двое ни на минуту не теряли контроля над собой, а Мухин расслабился. Излишнее чувство силы вредно, оно рождает самоуспокоенность.

— Идемте в рубку, — сказал Готдард Шаповалу, — нужно подписать протокол эксперимента и связаться с Землей.

Они вышли в коридор.

— А ведь его мать не соглашалась, — тихо сказал Шаповал, и Готдард обернулся с неприятным ощущением: ему показалось, что Александр сейчас заплачет.

Черт бы тебя побрал, с ожесточением подумал Готдард. Ах, управляемые гены. Ах, Шаповал. Все знаю, все могу. Погиб человек — и ты уже готов. Казнишь себя и других, клянешься, что никогда не станешь заниматься экспериментом. Исследователь божьей милостью...

— Она все говорила — сын не кролик, — Шаповал не думал идти в рубку, и Готдард остановился. Пусть выговорится.

— И знаете, я убедил ее... Вы помните Игоря? Внешность... не очень. Никакого успеха у женщин. Мать мечтает: сын женится, пойдут внуки... Я ей сказал, что УГС изменит внешность, и станет Игорь Аполлоном. Так и сказал. Куда Аполлону с его стабильными генами! В общем, так оно и есть, но... Это был нечестный ход, Готдард. Я затащил его и дал нестандартную УГС, и послал одного, и...

— Идите, — буркнул Готдард.

Он шагал вслед за Шаповалом и пытался вспомнить. Что-то ускользнуло, то же, что и раньше,

когда испытатели только вышли на трассу. Он читал когда-то. Люди идут, они первые, они не знают, что ждет впереди, но идти нужно, и они идут. А потом?

Они ввалились в рубку, и Шаповал стоя начал читать бортжурнал.

Если бы Мухин дошел, подумал Годдард, Шаповал бегал бы сейчас по коридорам, кричал «ура», давил всех своей эрудицией, и это было бы очень плохо. Ему полностью доверили бы спасательную к Урану, и кто знает, скольких людей он погубил бы тогда. Пусть сидит на Земле и изучает ругеров — плоских тварей, вытаскивших Маневича из трещины.

Шаповал уронил бортжурнал, поднял глаза.

— Почему вы такой добрый, Годдард? — сказал он угрюмо.

— Журнал содержит объективную информацию, — объяснил Годдард. — То, что я думаю о вашей выдержке, к делу не относится.

Он решил высказаться до конца.

— Надеюсь, что спасательная пройдет без вашего участия.

— Спасательная? — Шаповал отлично понял, но изборажал недоумение.

А ведь чего доброго, мы поменяемся ролями, подумал Годдард. Александр начнет требовать запрещения работ. С него станется.

— Разрешите, — сказал Годдард. Поднял журнал и вписал на страницу «Выводы»:

«Первое. Считать доказанной возможность существования человеческого организма в состоянии направленного биотокового мутагенеза при условиях экваториального пояса планеты Венера. Ввиду чрезвычайности обстоятельств считаю возможным разрешить участие вариаторов в поисках планетолета «Стремительный».

Второе. В дальнейших опытах считаю необходимым усилить группу сейсмического прогнозирования. Цель — предупреждение о возможных подвижках.

Третье. Усилить группу испытателей специалистами по планетографии. Цель...»

Годдард обернулся — Шаповала в рубке не было. Годдард подписался, вызвал по селектору обоих пилотов, запросил у «Тиниуса» скорректированные курсовые, связался с медотсеком: «Как у вас?» Ответил Маневич:

— Думаем... У Эрно разыгралась фантазия. Говорит, что мы и сами доберемся до Урана. Только скорость мала — на «Стремительном» заждутся. Но открытый космос — разве это проблема?

— Без самостоятельности, — устало сказал Годдард. — На Уране обойдутся без вас. Ваша работа — на Венере.

Он услышал шумный вздох и отключил селектор. Он вспомнил «Ночной полет». Так называлась эта повесть. И люди там не шли, а летели на старинных скрипящих и чавкающих бензином аэропланах, летели в ночь, в грозу, и зарницы плясали на крыльях машин. А дома их ждали жены. И на земле какой-то хмырь думал: запретят или нет?

Годдарду показалось, что он только сейчас пришел в себя, будто все эти дни прошли в тщетных попытках вспомнить, и больше не было ничего: ни бесцветного месива туч, ни яростной болтанки в тропосфере, ни коротких минут прямой связи, ни ругеров, ни грохота вулканов на месте гибели Мухина. Ничего не было, кроме старой повести, и он, Годдард, участвовал в ней, что-то запрещал, на что-то указывал, будто это имело значение. Маневич уйдет в космос, пешком пойдет к Венере, а то и к Солнцу. И Крюгер не побоятся ативазии, да и что это такое — ативазия? Нужно усилить психическую подготовку. Нужно заново продумать УГС-2, сделать

ее менее автономной. Нужно... Годдард усмехнулся. Он еще не был убежден, что это действительно нужно. Но не отступишь. Шаповал рассудил правильно — Годдард доведет дело до конца.

* * *

Маневич строил планы. Они разбегались, как круги на воде, убегали далеко в будущее и там теряли четкость, расплывались. В центре была Венера. Ее небо, ярко светящееся жаркими лучами. Ее дрожжащая от вечных внутренних напряжений поверхность. Великан, который не знает, к чему приложить свою нерастратченную энергию. Может обратиться в прах любую постройку и может дать силу звездолетам. Нужно приказать ему, и он, Маневич, сделает это. Он и Крюгер, и другие, кто пойдет с ними.

Маневич лежал спеленутый на диагностической кровати, думал, вспоминал, сравнивал, мечтал. Нужно развить в себе чувство сейсмической опасности. Что-нибудь вроде инфразвуковой локации. Это первое, чем он займется, когда вернутся с Урана ребята.

Нет, подумал Маневич. Сначала — Мухин. Пойти к его матери. Маневич не знал, что скажет. Вероятно — ничего. Будет сидеть и молчать, и напротив него еще не старая женщина будет смотреть в стол, теревить края скатерти (в доме Мухиных все очень старомодно), и ничего ей не объяснишь, потому что любое объяснение не облегчит ее горя...

Маневич услышал шаги и открыл глаза. Вошел Годдард, смотрел исподлобья, молчал. Красные веки, лицо серое, сутулая спина. Досталось старику, подумал Маневич.

— Скажите, Сергей, — Годдард заговорил тихо, и Маневичу сначала показалось, что он слышит не слова, а мысли. — Скажите, что сделали бы вы... Стресс, смертельная опасность. С вами нечто похожее было... И вдруг УГС жестко кодирует информацию. И вы не можете стать человеком. Остаются этой скользкой тварью, и ваш мир — сто атмосфер, тысяча градусов, углекислота и энергетический паек. И нет больше Земли... Так, между прочим, могло произойти с Мухиным... Понимаете?

Самый важный для него вопрос, подумал Маневич. Может быть, он и полет к Урану разрешил не только из-за «Стремительного», но чтобы понять: люди мы или нет.

— Люди, — сказал Маневич. — Люди до конца. Мозг, мысли, чувства те же. Где-то тоньше, где-то грубее. Не сразу разбираешься в обстановке. Не находишь определения новым ощущениям. Срываешься. Два дня назад я чуть не убил — без причины, просто испугался. Трудно прожить жизнь в оболочке зверя... Не знаю. Главное — не оболочка. Если нас будут тысячи, если мы построим на Венере города, дойдем до самых ее недр, приручим все живое... Понимаете, Годдард, будет смысл в нашей жизни здесь... Будем жить.

— Смысл, — повторил Годдард.

Маневичу почудился в этом слове оттенок иронии, но ее не было. Годдард решил для себя важную задачу, не находил решения и мучился.

— Хочу верить, — сказал он, — что это так, но... Необычные ощущения заставят мозг и реагировать необычно. Психика не может оставаться неизменной, когда меняется все... Десятки тысяч лет человек был человеком...



— И остался. Право, Годдард, мы люди. Если где-то на планетах Капеллы вы встретите жуткое бесформенное страшилище и будете говорить с ним о структуре жизни, о красоте заката, о строении протона, о звездоплавании и последней пьесе Денисова... Пусть ваши мнения не совпадают, точки зрения полярны, он не знает Денисова и приводит в пример какого-то местного гения, но вы говорите с ним о природе, которая везде едина. Как вы назовете такое существо?

Годдард молчал.

— Человеком, Годдард, человеком! Вот ведь, по-моему, в чем дело. Вы думаете о человеке и представляете его тело — Аполлона, Венеру... Старого Шестова с его шишкообразным черепом. Мухина с его неуклюжей походкой и красным лицом. Шаповала с его самоуверенной физиономией. А дело

не в этом. Старик Шестов построил единую теорию поля. Воспитал сотни учеников. Посадил в лужу тысячи научных противников. Пил коньяк, рыбачил, лазил в горы и был человеком, Годдард! А потом, за месяц до смерти, услышав об открытии Шаповала, попросил: запишите в испытатели. Ему всего своего было мало. Смысл жизни для него был в том, чтобы знать как можно больше, побывать везде и во всех обличьях, ощутить мир как часть себя. А для меня? А для Эрно? Для вас, Годдард?

Маневич закрыл глаза. Бог с ним, Годдардом. Поймет. В каждую клеточку свинцом вливалась усталость. После тренировок Маневич всегда лежал вот так же и слушал, как засыпают клетки, как тепло идет от ног к голове...

Годдард, потоптавшись у двери, пошел в рубку — на связь с Землей. Спасательная к Урану уже стартовала, и он хотел прослушать сводку о полете. Его качало от усталости, и он боялся, что свалится и захрапит.

...Маневич сидел на краешке стабилизатора и смотрел на Солнце. Корабль двигался по инерции, казался неживой рыбиной. Маневич оттолкнулся и

поплыл рядом, подставляя Солнцу то спину, то голову. Свет во сне казался теплым и вкусным и звал к себе. Маневич сосредоточился и стал парусом. Колбочки света впились в его тело и бились, и толкали, он ощущал каждый квант, каждый невидимый лучик. Ловил их и швырял обратно. Он резвился и плавал на солнечных волнах, нырял в корабельную тень и, задыхаясь от недостатка энергии, всплывал на колочую поверхность звездного океана. Солнечный ветер нес его, покачивая и разгоняя. Они летели втроем: он, Крюгер и Мухин. Пролетели мимо больших планет, ежились от прикосновений аммиачных туч Юпитера, ловили приветственные сигналы от ребят, исследующих Уран. По-хозяйски осматривали свой новый мир. Видели непочатый край работы и, обернувшись к зеленой искорке-Земле, кричали людям:

— Идите с нами!

И слышали в ответ едва уловимый плеск радиоволн:

— Вам должно быть хорошо сейчас...

Рисунки Е. Стерлиговой



ПЛАСТ И РЕАЛ

За 130 лет, прошедших с того дня, как покинул родную планету Эл Брегг, герой фантастического романа Станислава Лема «Возвращение со звезд», Земля изменилась до неузнаваемости. Изменился ее облик, изменился быт людей, и в языке, одновременно со всевозможными техническими новшествами, появились совершенно новые понятия. В их числе — «пласт» и «реал». Что это такое? Вот как объясняет их Наис, первый человек, с которым познакомился в мире будущего Брегг:

«— Пласт?.. Как бы тебе... чтобы проще, ну, делаю платья, вообще одежду...»

«— Реал — это... реал. Это такие... истории, на них смотрят...»

— Театр?

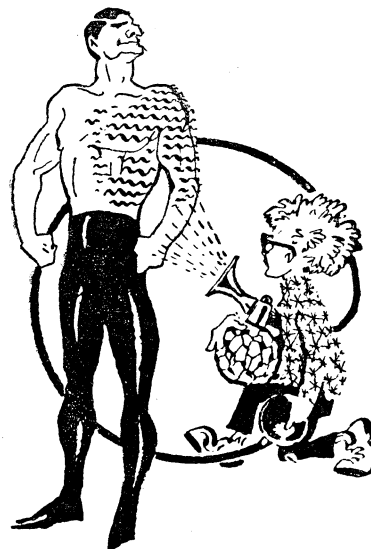
— Нет... Я знаю: там были настоящие люди. Реал искусственный, но это нельзя отличить. Разве только, если войдешь туда, к ним...»

Впоследствии Бреггу самому приходится «пластовать» — изготавливать одежду, опрыскивая себя веществом, мгновенно застывающим «в виде ткани с гладкой или шершавой фактурой: бархата, меха или упругой с металлическим отливом»; доводится ему и бывать в «реале».

Однако фантастические «пласт» и «реал» существуют уже сегодня. Как сообщает журнал «Кемикл

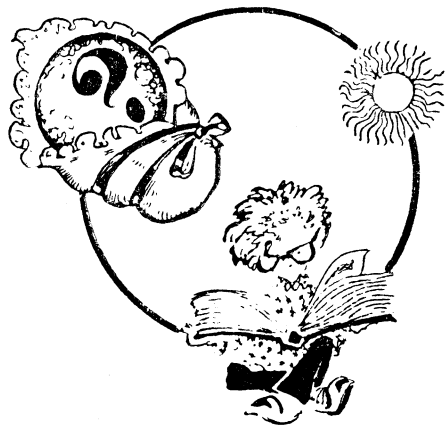
ревью», в США налажен серийный выпуск специальных аэрозолей, из которых описанным выше способом изготавливают одежду. В основном это нашло себе применение при изготовлении разовой одежды на вредных и требующих особой стерильности производствах.

А чтобы побывать в «реале», достаточно сходить на просмотр фильма, выпущенного студией «Лазерфильм» в Голливуде: эта студия использует при съемках принцип голографии.



ГИБЕЛЬ ФАЭТОНА

Сколько научно-фантастических произведений построено на гипотезе о былом существовании и гибели десятой планеты Солнечной системы — Фазтона! Достаточно вспомнить «Звездоплывателей» Г. Мартынова, «На десятой планете» А. Митрофанова,



«Волшебный бумеранг» М. Руденко... И, надо сказать, в гипотезу эту постепенно поверили даже ученые.

Но вот недавно известный астроном доктор Алфвен из Шведского королевского института технологии обнаружил в поясе астероидов, считающемся остатками этой гипотетической планеты, структуру из астероидальных тел, появление которой нельзя объяснить ни взрывом материнской планеты, ни фокусирующим влиянием гравитационного поля Юпитера. На основании своего открытия Алфвен пришел к выводу: астероиды — обломки планеты, а наоборот — сырье, планета в стадии формирования. Сегодня эта теория планетообразования имеет уже немало сторонников.

Иного мнения придерживается академик Фесенков. Он считает, что астероиды — самостоятельная формация, возникшая вместе с остальными планетами.

Третью точку зрения высказывает директор Государственного астрономического института имени Штернберга профессор Д. Мартынов. По его мнению, астероиды — не планета в процессе формирования, а остатки не сформировавшейся по каким-то причинам планеты.

Так или иначе, Фазтон погиб еще один, наверное, последний раз. Остается вопрос: что же будет с теми научно-фантастическими произведениями, которые построены на этой гипотезе? Переживут ли они ее? Думается — переживут. Если, конечно, они достаточно талантливо написаны...

ТАЙНА «ПУПА ЗЕМЛИ»

В бескрайних просторах Тихого океана затерялся крохотный островок с громким названием «Те-Пито-о-те-Хенуа» (в переводе на русский язык — «Пуп Земли»), иначе именуемый Рапа-Нуи, Вайга или остров Пасхи. Пожалуй, немного мест на нашей планете связано с таким количеством исторических, этнографических и прочих загадок, как этот остров. Ведь здесь сохранились следы явочной высокой древней цивилизации, — а откуда ей взяться на столь незначительном клочке суши? Или, может быть...

И вот экипаж подводной лодки «Пионер», в 1938 году отправленной в кругосветное плавание писателем-фантастом Г. Адамовым, находит под водой у подножия острова Пасхи строения, террасы, статуи... Ясно: остров Пасхи — часть затонувшей некогда суши, осколок легендарной Пасифиды; этим и объясняются многие из загадок.

Но так обстоит дело лишь в старом, фантастическом романе. Водолазы и аквалангисты, спускавшиеся под воду у берегов острова во время работы там экспедиции Тура Хейердала и позже, ничего на дне не обнаружили. Поиски продолжались долго. Но так и не удалось увидеть ни статуй, ни платформ, ни продолжения дороги, загадочно обрывающейся у бе-

рега. Дальше шли одни карнизы, кораллы, глубокие трещины, затем подводный склон вертикально обрывался в синюю бездну...

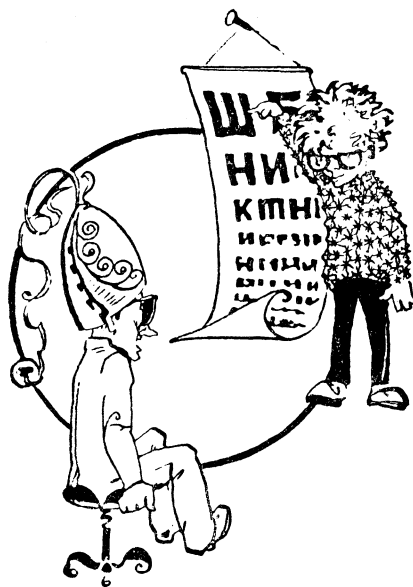
Так откуда же взялись на острове Паехи письменность, загадочное кохау-ронго-ронго, дороги, грандиозные платформы — аху, многотонные гиганты из камня? Загадки, загадки... Ученые ломают над ними голову. А фантасты наших дней — молчат. Почему?



ЦЕРЕБРОВИЗОР

Свой аппарат искусственного зрения инженер С. В. Ковдин и профессор И. М. Малиновский назвали «церебровизором» — от латинских слов «церебрум» (мозг) и «визум» (зрение). Произошло это во второй половине пятидесятых годов... в фантастическом рассказе М. Дунтау и Г. Цуркина.

Ныне аппарат искусственного зрения перестал быть фантастикой. По сообщениям английской печати, первая его модель уже создана в Лондонском институте психиатрии. Принцип действия аппарата аналогичен работе глаза. Телекамера преобразует изображение в ряд светлых и темных точек, подобно тому, как создаются газетные фотографии. Затем эти сигналы превращаются в электрические импульсы. Эта часть аппарата смонтирована в шлеме, надеваемом на голову слепого. Приемные элементы передают импульсы дальше, непосредственно в зрительные центры, находящиеся в затылочной области коры головного мозга. Эти элементы вживляются хирургическим путем под кожу затылка. В первой модели таких приемников 80, что позволяет различать простейшие изображения (например, печатный текст). В дальнейшем предполагается усовершенствовать прибор настолько, чтобы слепые могли видеть так же, как зрячие.



НА ЗЕМЛЕ... ПО-МАРСИАНСКИ

Первые поселения на Марсе. Основная трудность — отсутствие воды, без которой невозможны ни деятельность, ни сама жизнь поселенцев. Воду приходится доставлять в специальных контейнерах с Земли, что сложно технически, дорого и к тому же лишает Марс автономности. Чтобы покончить с зависимостью от метрополий, «марсиане» находят выход: начинают доставлять гигантские ледяные глыбы из кольца Сатурна... Таков сюжет повести американского писателя-фантаста Айзека Азимова «Путь марсиан».

Однако водное голодание — вполне реальная угроза не только для будущих жителей Марса, но и для современных землян. Речь, конечно, идет о пресной воде, расход которой лишь на бытовые нужды составляет сегодня в среднем около 160 литров в сутки на человека. И вот выдвинут оригинальный проект. Два буксирных судна находят у берегов Антарктиды айсберг, берут его на буксир и доставляют в один из австралийских портов (проект выдвинут учеными Австралии, страны, где водяной голод особенно ощутим из-за малого количества рек, большинство которых к тому же летом пересыхает). Такой рейс будет длиться несколько месяцев. Но подсчеты показывают, что экономически он будет более чем оправдан: даже если учесть, что часть тела айсберга по дороге растает, оставшегося льда хватит на удовлетворение нужд страны в течение примерно двух лет.





СЕМЕРКА НА КАРТЕ

Поселок Семь Ключей в Свердловске знают все — он находится в городской черте, туда и трамвай ходит. А вот почему он так назван — и сами жители не скажут. Сейчас уже не установишь — семь или не семь ключей было когда-то в урочище, на месте которого возник поселок, но скорее всего — не семь. И вот почему.

Число семь удивительно популярно в топонимике. На Урале есть горы Семизарубная и Семиколенная, камень Семичеловечный, скалы Семь Братьев, болото Семитетерье (семь тетеревов), река Семиостровная. В других местах находим: город Семипалатинск (семь палат), поле Семигорное, озеро Семиводное, урочище Семиозерка и множество других.

Ну, и что же здесь особенного? — подумает читатель. Было в каком-то месте семь островов, озер, гор, жили там семь человек — вот и возникло название...

Может быть, иногда дело именно так и обстояло, и дотошный краевед сумеет выяснить, что на горе действительно стоит семь братьев-скал или под горой сверкает семь озер. Но вот что интересно: названия с соседними числами 6 и 8 в топонимике крайне редки, и это особенно поразительно на фоне количества названий с числом 7.

Не менее удивительно и то, что такие названия встречаются на каждом шагу не только в русском языке, но и в других языках, например в мансийском. На Северном Урале записаны: Сат-

йиквар-палынг-сос — «Ручей семи вывернутых корней», Сат-нанг-люльня-павыл — «Поселок у семи лиственниц», Сат-соруп-хайтум-воль — «Плесо, по которому бежали семь лосей», Сат-хум-хайтум-лох — «Лог, где бежали семь мужчин», Сат-лув-алым-няр — «Болото, где убили семь лошадей».

Вот так-то: ни 6, ни 8, а всегда только 7, как если бы лоси и лошади паслись только группой в семь голов или манси замечали только то, что насчитывает семь предметов, ни более, ни менее...

На самом деле все обстоит и гораздо проще и в то же время сложнее.

Прежде всего «счетные» названия в топонимике весьма обычны, причем числительные от 1 до 5 почти всегда точно характеризуют объект по количеству деталей или месту, которое он занимает по порядку (острова Два Брата, урочище Три Озера, скала Пять Братьев; сопка Вторая, остров Третий, ручей Четвертый). Но начиная с числа 6 все изменяется: 6 — в топонимике единично, 8 и 9 — еще большая редкость. И только число 7 встречается на каждом шагу, и притом намного чаще, чем его младшие собратья. Самое же любопытное состоит в том, что число семь сплошь и рядом употребляется в тех случаях, когда количество считаемых объектов велико, но не равно семи.

Все это говорит о том, что люди, давшие названия, вкладывали в число семь какой-то особый смысл.

Тут надо заметить, что в русском языке много словообразований и выражений (например, пословиц) с числом семь. Тут и семибатечник и семиблюдка (роскошный обед), и светик-семицветик, и за семью печатями, и семеро одного не ждут, и семьдесят семь и то не совсем и много других. И выходит, что неопределенное множество — вот значение, в котором выступает число семь как в языке вообще, так и в географических названиях.

Что же касается причин, почему числу семь выпала такая честь, то тут весьма длинная история. В давние времена это число было священным у самых разных племен — у индоевропейцев, финно-угров, семитов. Было оно магическим и у русских, и у манси. Во всяком случае, в устном народном творчестве манси на каждом шагу встречаются семь дней, семь лет, семь сыновей, семь князей, семьдесят семь духов. Седьмое небо.

Материальной основой древней числовой магии, возможно, были семь светил, о которых знали астрономы в старину (Солнце, Луна, Меркурий, Марс, Венера, Юпитер, Сатурн), семь звезд Большой Медведицы или же количество дней в одной фазе Луны (лунный месяц — 28 дней).

В наше время слова и выражения с числом семь уже никем не воспринимаются как священные, все они просто указывают на неопределенное множество предметов.

Проф. А. К. МАТВЕЕВ
Рисунки В. Сыкова.

РЕДКИЙ СЛУЧАЙ



Все недоумевали, куда девался могучий статный конь. Лошади были спутаны и гаслись неподалеку от леса, рядом с поселком. Долго проискал его дежуривший конюх. Старику верилось, что вот-вот за деревом он встретит Комика — так звали потерявшегося коня. Но прошли сутки — никакого результата.

В артемовской городской газете напечатали о пропаже заметку и попросили читателей помочь найти животное. И Комик нашелся. Его обнаружила через 34 дня жительница шахтерского поселка Буланаш в старой горной выработке трехметровой глубины, почти рядом с тем местом, где он пасся. Видимо, конь как-то туда провалился.

Тридцать четыре дня без пищи, без воды. Было видно, что Комик сначала дотягивался губами до травинок, росших по краю ловушки. Иногда его выручал дождь. Конь сжевал веревку, которой были спутаны ноги. За время «плена» он очень сильно исхудал. Когда его вызволили из ямы, конь сразу же начал щипать траву, брал хлеб, но овса «не замечал». Не хотел ложиться, хотя и очень ослаб.

«Случай этот уникальный и представляет несомненный интерес для биологов, — сказал профессор Свердловского сельскохозяйственного института Василий Иванович Морев. — Животное будто чувствовало, что если ляжет, то не сможет встать. Понятно, почему отошавший конь отказался и от овса. Ведь пища эта твердая, жесткая, а трава нежная и в ней достаточно влаги. Происшествие с Комиком лишний раз подтверждает, какие огромные возможности таит в себе живой организм».

Недавно я видел Комика. Через два месяца после «плена» он полностью восстановил свои силы и начал работать.

Вот этот конь перед вами на снимке.

П. КОВЕРДА
Фото М. КОРСУКОВА

АВИАЗАЙЦЫ

Это не «зайцы» — безбилетники, а самые настоящие.

Как они оказались в самолете!

Много лет назад на Осиновой горе, что близ станций Ильмовка и Дружинино, сделал вынужденную посадку небольшой самолет. Все обошлось благополучно, машина приземлилась мягко, пассажиры отправились дальше пешком через тайгу. А вызволить самолет из таежной глухомани оказалось дороже, чем бросить его, там. С него сняли все самое ценное, что можно было снять, и оставили фюзеляж в лесу.

Охотвед А. Горбунов часто бывает на Осиновой горе, он-то и открыл, что в самолете полно зайцев. Всюду в углах, под сиденьями устроены их лежки.

На следующий год снова пришел А. Горбунов к самолету. Заячьих следов в нем стало еще больше. Видно, со всей округи сбежались косоглазые сюда — в уютный дом.

Так до сих пор в самолете на Осиновой горе и живут зайцы.

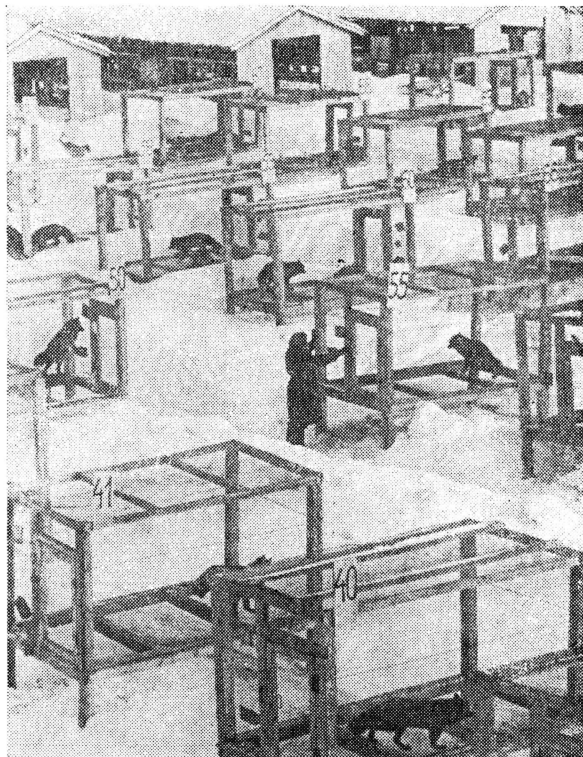
П. НЕФЕДЬЕВ

Эти снимки сделаны в Тобольском зверосовхозе, одном из крупнейших в Сибири. В хозяйстве выращиваются десятки тысяч зверюшек. мех цветной норки, голубого песца, серебристо-черной лисицы очень ценится и у нас в стране, и за рубежом.

На снимках:

1. Здесь живут лисички.
2. Самая ценная и красивая норка — сапфировая. Она пыталась укусить фотокорреспондента; позирование ей пришлось явно не по вкусу.
3. Портрет этой норки удалось сделать лишь потому, что она заинтересовалась веточкой рябины.
4. Послеобеденный отдых песца был нарушен щелчком фотоаппарата.

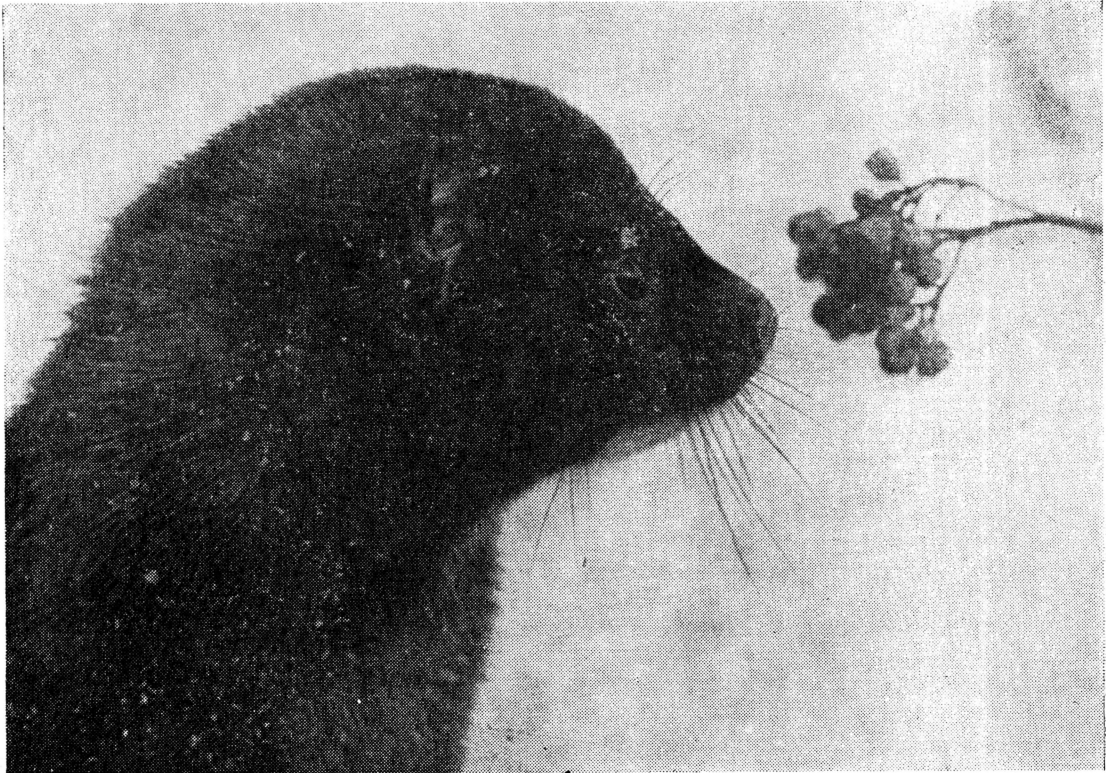
Фото и текст И. Сапожкова



1.

2.





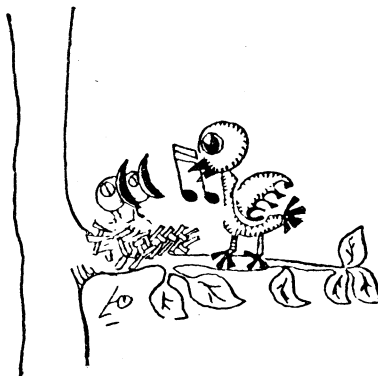
3.



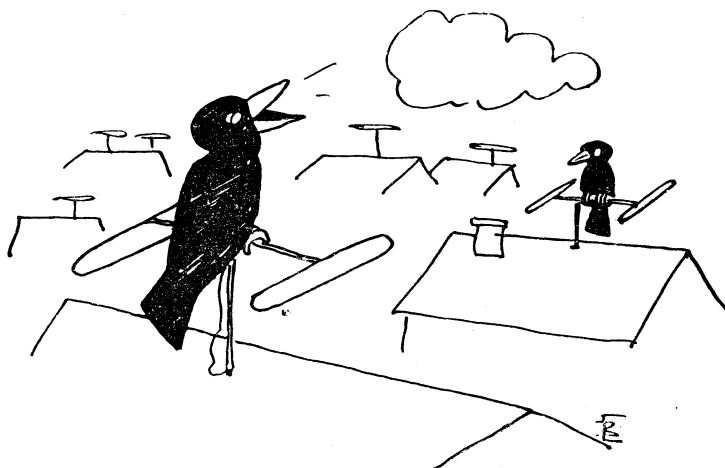
4.



Рисунки В. Юрчикова
и В. Семенова



В СЕМЬЕ ПЕВЧИХ.



— ИДИ СЮДА, ПО ВТОРОЙ ПРОГРАММЕ ИНТЕРЕСНЕЕ!

Главный редактор С. МЕШАВКИН

Редколлегия: А. АСС, А. БОГАЧЕВ (зам. главного редактора), МУСА ГАЛИ,
А. ДОМНИН, Б. КОЛЕСНИКОВ, В. КРАПИВИН, Ю. КУРОЧКИН, Г. МАШКИН,
Н. НИКОНОВ, Л. РУМЯНЦЕВ, К. СКВОРЦОВ, И. ТАРАБУКИН (ответственный секретарь),
В. ШУСТОВ

ОБЛОЖКА С. КИПРИНА.

НА ВТОРОЙ СТРАНИЦЕ ОБЛОЖКИ ЦВЕТНОЕ ФОТО П. ИЩЕНКО

РУКОПИСИ НЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ

Художественный редактор М. Горшкова,

Технический редактор Э. Максимова.

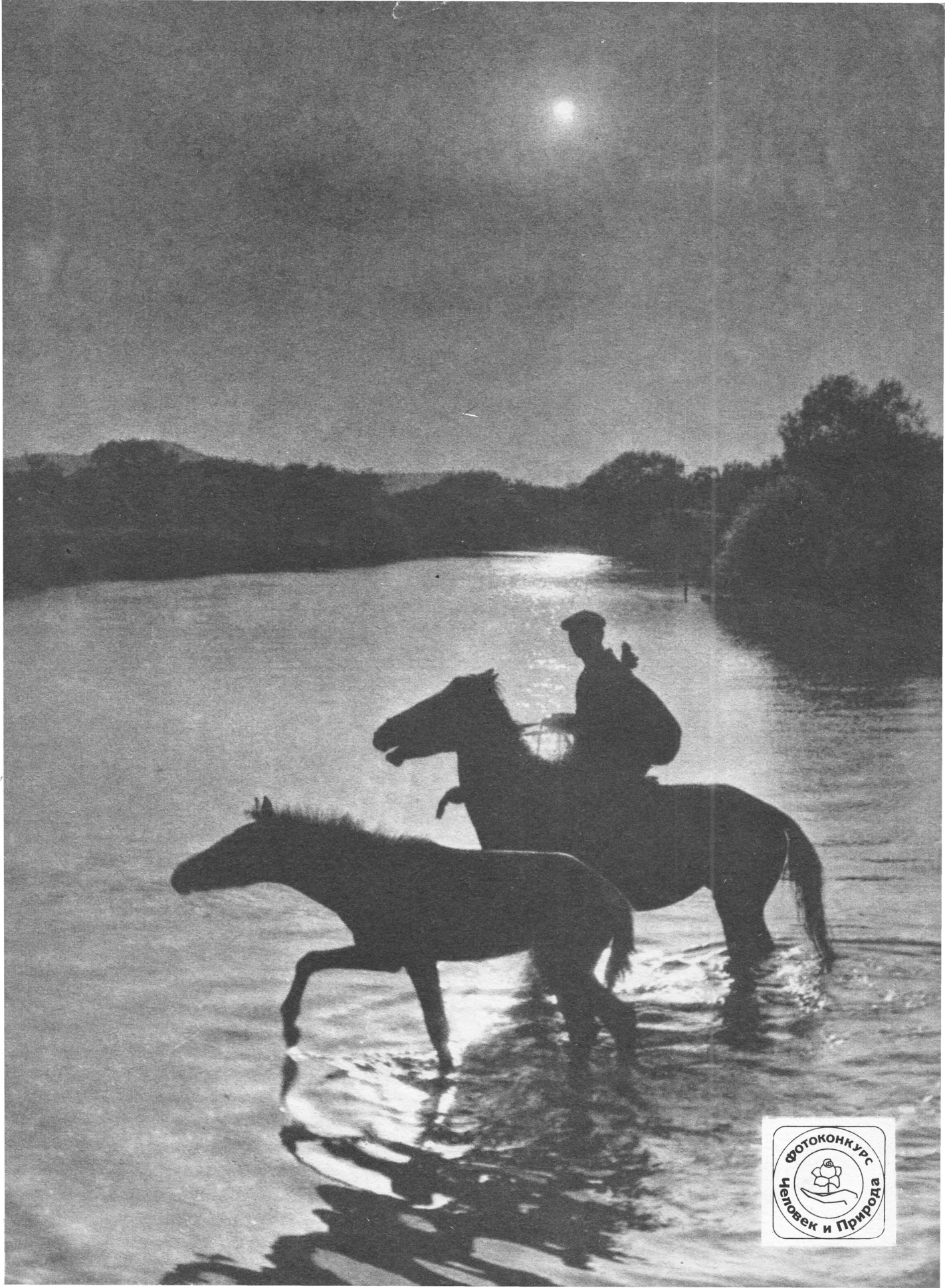
Корректор В. Бурангулова.

Адрес редакции: Свердловск, ГСП-353, ул. 8 Марта, 8. Телефон 51-22-40
Средне-Уральское Книжное Издательство.

Сдано в набор 23/II 1973 г. НС 20098. Подписано к печати 17/IV 1973 г. Бумага 84×108¹/₁₆=2.62 бум. л.—
8,8 печ. л. Уч.-изд. л. 9,7. Тираж 220 000. Цена 30 коп. Заказ 70.

Типография изд-ва «Уральский рабочий», г. Свердловск, пр. Ленина, 49,

Фото Г. ДИМОВА (г. Владивосток). БРОД.





В ГОРАХ КАЗАХСТАНА. Линогравюра.

Н. ЧЕРКАСОВ (г. Челябинск).